Бакинский этап

Вениамин Залманович Додин

SHOUT
SHARE
IT

- Бакинский этап
  -
- notes
  - 1
  - 2

Бакинский этап

«Свидетельство о без вести пропавших»
Вениамин Додин

«…И куда ни кинешь взгляд, повсюду огонь, чума
— Смерть повсюду, пронизывающая душу и ум…
Уже минуло /много/ лет с тех пор, как наши
реки, отяжелённые множеством трупов,
текут замедленно… Но я ещё умалчиваю о том,
что хуже голода, что ужаснее чумы, пожаров
и что страшнее смерти — что теперь
сокровища души разграблены»
Грифтиус,
«Слёзы отечества», сонет,
1636 год
* * *

Подъем прокричали заполночь. В настежь раскрытые двери барака рвался с воли метельный сквозняк, сыпал на спящих снежной мокретью. Люди спросонок матерились зло, тянули на голову еще не просохшие с вечера бушлаты — «одеяла», жались к нарам — спать. Гнали от себя наваждение ночного подъема — никакой конвой ночью, в темень, в снег никогда зэков не примет! А если шмон? Ну, какой шмон при мутных, еле тлеющих лампочках! И люди за день намантулились — за сутки не отоспаться! Нет, не поднимут!

Однако подняли, выгнали на ветрище, подогнали к уже распахнутым воротам вахты. Непривычно быстро незнакомый конвой окружил, «разобрал» по пятеркам, пересчитал, вытолкнул за зону в ослепительное марево откуда–то взявшихся армейских зенитных прожекторов, разбил по тридцаткам, подвел к ожидавшим грузовикам — «Студебеккерам». Мы не понимали, что происходит: почему спешка, для чего прожектора, куда собираются нас увозить? Мерзли в плотной гуще снега с дождем, пылавшей в нестерпимом свете окруженного солдатами пространства, тряслись в знобком колотуне…

Конвой чего–то ждал. Озлобленный ночным — в мокрой тьме — беспокойством, он нервно собачился промеж себя. Собаки тоже нервничали, переступали в жидкой грязи, негромко скулили, грызлись незлобно.

Вынырнуло из тьмы на свет начальство — хозяин района Ивойлов, — боров в черном канадском полушубке, Суздальцев в знаменитой шубе–расписухе, Быков в мятой шинёлке. Тут солдаты закричали истошно:

— По маши–и–ина-а-ам! За–алеза–а-ай!

Залезли. Сдвинулись. Свалились разом на корточки, спиною к конвою и собакам. Тотчас машины тронулись, и враз погасли прожектора, обдав землю тьмой. Часа через полтора ходу «Студики» выкатились на взлобок–ветродуй. Остановились. В непроглядной темени слева — снизу, до занавешенного снегом и дождем черного горизонта — мутная ширь припорошенной воды… Волга! И, вроде, рядом Красная Глинка — редкие её огни…

Обогнав нас, проехали машины с теми же зенитными прожекторами. Разом вспыхнули ослепляюще световые «трубы». Распахнули берег. Прошлись по колонне. Пробежали по плотному строю зелёных грузовых машин. Упёрлись, будто в стену, в снежно–дождевой занавес над рекой, высветив приткнувшуюся вблизи берега огромную баржу–танкер и поодаль еще одну, и еще, и еще… — бесконечную их цепь…

Лучи свалились вниз. В их свете, — прямо от воды к машинам, к вылезшим из кабин Ивойлову и Суздальцеву, — поднимались какие–то вояки. Они шли, кутая лица в поднятые воротники ослепительных под прожекторами белых полушубков. Одному из них, главному, что–то сказал–доложил начальник конвоя. Потом Ивойлов прокричал — мы только услыхали: «… — товарищ комиссар второго рангу!» …И выслушав ответ, крикнул конвойному начальнику: — Сгоняй! А то счас новые машины с зэками подойдут!

Тотчас и согнали нас. Выстроили. Тут вдоль строя медленно двинулся крытый «Студебеккер». Из него солдаты скидывали связки совковых лопат и ящики с… противогазами. «Противогазы?» — прошелестело над колонной. — Противогазы зачем? Или химию какую разгружать? Тогда почему ночью, да при таких «буграх»?!

Снова Ивойлов: — За–а–аключенныя-я-я! Слу–у–ушай кома–а–анду! Сей–час, как оцепление выставится, получи каждый лопату. И противогаз! Маски только не порви! И коробки с подсумков вынимай только чтоб крышечки отвернуть! Отвернешь, и чтоб не пропали! Пропадут — накажу!

Ничего не понимая, мельтешась, мы накинули сумки с противогазами, похватали лопаты–совки. Тут бы, самое время, собакам забесноваться, лаем зайтись — они ох как не любят лопат в руках у зэков! Только собаки почему–то молчали. И молча, в каком–то судорожном остервенении, пытались… подлезть под дохи своих проводников — спрятаться! Правда, как подъехали к берегу, еще на машинах, показалось–почудилось: или свалка городская рядом где–то, или скотомогильник

разрытый — сильно потянуло лежалой падалью… Или духом покойницким? Вроде как с наших штабелей в предзонниках весною, когда потеплеет и крысы в них закишат…

И еще раз Ивойлов: — Ребя–я–яты-ы! Значит, вас счас на эту баржу запустят побригадно… Вы там разберитеся сами, как вам сподручнее. Но чтоб к утру баржу ету, емкость, значит, под авиационное горючее, очистить как положено! Давай! А об питании, там, эли что пить — это начальство позаботится. И без отказу чтоб! Задание военное, срочное! Надевай маски! И давай, давай! Другие баржи без вас очистют…

По скользкой глине, на задницах, мы быстро спустились к воде. Когда, ослепнув в запотевших окулярах, я содрал маску — в лицо, в легкие ударило густым, устоявшимся, как в покойницкой старого морга, запахом гниющей мертвечины… И отбросило назад в берег… Оглянувшись, увидел: не меня одного «отбросило» — почти все мои товарищи лежали без масок, уставясь в баржи…

— Что это, мужики?! — Собственного голоса я не узнал…

— Что? А ты не знаешь? Не слышал, что они, падлы, на реках Севера и Востока творят аж с самого 1918 года — Степан Синёв, бригадир, крикнул и столкнул меня к воде. — Иди! И вы все идите! Все! — Закричал он, оскалясь и запихивая маску в сумочку. — Идите! И своими глазами поглядите на жизнь человеческую — чего она стоит, наша жизнь! Без масок поглядите! Чтоб глаза привыкли — не лопались! — И первым прыгнул в реку. Враз вымокнув в ледяной воде я, вслед за Синевым, по приставной стальной лестнице–трапу взобрался на высоченную палубу баржи. Потом — остальные. Еще и офицер какой–то незнакомый. Он поднял маску над подбородком, прокричал глухо: — Давай, ребята! Давай! Там люка — не широкие, но в них по скобам залезать удобно. Только склизко очень. Потому держитеся сильнее…

— А делать–то здесь что, гражданин начальник? — Из люка, уже снизу, Степан Синев глухо прокричал. — Делать–то что нам?… Тут же… сами, небось, видели…

— Что делать? Попробуйте как–нибудь… поддевать лопатами и вытаскивать наружу… Там все раскисло, разложилось…Этап–то с самых Сальян, с Ленкорани… Он же — с марта, сообщают… Он восемь месяцев шел сюда, этап этот… Или лопатами — в перекидку, что ли… Ты старый уже — тебе лучше знать.

— В какую «перекидку»?! Тут, Господи, прости, студень из людей… Холодец из Человечины!…

— И я об том же. Тут бы мешками надо… В мешки бы все это — лопатами. И сюда — на палубу. Или техникой бы какой…

Мониторами, вот…

— Раньше что думали, пока этап «восемь месяцев», говоришь, гнали?

— Кто гнал–то, я?

— А кто?

— А кто его знает, кто! Кто гнал — те давно разбежались. А кто остался… На этой вот барже в живых один только человек, из ваших, из заключенных. На всю баржу один — в гальюне запертой был. На палубе. И еще с третьей, вроде, баржи двое живых — тоже в гальюне сидели, на заложке… Этот, что на нашей вот барже живой — он уже, вроде, трёкнутой… Ну, валеты у него разбежалися. И то — можно понять: их, зэков, как в Азирбайжане да в Дагестане загнали в трюма, рассказывал, так заложки на люках сразу проловкой и закрутили… Насовсем. От побега, говорит. А его одного конвой азирбайжанский наверху держал, в гальюне железном, для перевода, говорит, — он по–ихнему понимает. Ну, и как шестерку — он печку им топил, воду носил…

— Которым в трюме? Зэкам?

— Зачем?! Которые конвой.

— А тем?… ЭТИМ вот?

— Я говорю: они еще там, вначале, насовсем проловкой заложки на люках закрутили. И больше не раскручивали ни разу.

— Так ни разу и не открыли?!

— Не. Не открывали, говорит. Немец рядом, боялись. Им откроют, а они кинутся.

— Немцы?! Откуда там немцы?

— Какие немцы! ЭТИ кинутся, когда узнают, что немцы рядом!

— Чего городишь, — какие немцы на Каспии? Их там сроду не было!

— Не было. Ну и что? Все одно боялись: отвечали же за зэков. Знаешь, какая ответственность на конвое, да на нас, за заключённых?

— Ничего себе ответственность! Загнали в баржи, закрутили «проловкой», заморили голодом, сгноили в студень на поминки по России…

— Так не я же!

— Значит, я тогда, Синёв Степан. Моя вина… Мужики! Давай ко мне!

Слепые — в масках — мы стали спускаться к Степану. В мутном свете «летучих мышей» открылось бесконечное пространство огромного отсека–танка. От наших ног на нижних скобах люка до потерявшейся во тьме переборки стыло месиво человеческих останков…

Минутами оно вздрагивало зябко от удара забортной волны. Тогда липкий вал изуродованных трупов, вздыбливаясь медленно, судорогою катился по белесо–розовой поверхности. В радугах нефтяных разводов появлялся на ней, будто оживая в движении, кричащий оскал чьих–то перекошенных болью лиц–масок, затекшие глазницы грибоподобных черепов, согнутые, разбухшие кости рук и ног — множества рук, молитвенно воздетых судорогой — волною… Потом все успокаивалось, вздрагивая… Застывало, колышась… До новой волны…

— Ну! Узнали теперь, как они за нас отвечают?!… Ладно, спускайсь и дело делай, мужики, кто еще не расчеловечился совсем…

— Не могу, Степан!…

— Не можешь?! А я могу?! Мне, может, тошнее твоего, может, горше…

— Степа! Я ИХ лопатой не могу — ОНИ мне еще живые!

— Сопля! Вылазь, оклемайся. И сам вернись. Сам! Понял?

— Понял…

— Ничего ты не понял… ИХ земле надо предать, ОНИ не виноватые, что нелюди их сгноили тут. И если мы ИХ отсюда не вынесем и не похороним, — ты понятия не имеешь, что эти суки Безымянлаговские им сделают! Они их взаправду мониторами в пульпу перетрут и выкинут в Волгу… Рыбам! Они всегда и повсюду так делают — нелюди! И с мамою моей и отцом також. И их под Архангельском в баржах на пульпу порастерли…

Сам ли я выполз на палубу. Или выволокли меня — не знаю, не помню. Помню только, — желудок вывернуло–вытряхнуло, словно мешок с навозом… Еще помню, как наступила вдруг глухота. И в ее пугающей пустоте завыла — ввинчиваясь в мозг — тонкоголосая сирена…

Потом, когда отошел, оклемался на ледяном ветру, померещилось спасительно: «Сон! Немыслимый, страшный сон!» И я поверил самому себе: сон! Трюм — сон. ТО, что в трюме — сон. И все вокруг, что вижу, что чувствую. Тогда «включился» слух. Я услышал ветер. Топот ног: прибегали, потом уходили — пятясь — какие–то военные. Исхрабрясь, медленно прошаркал мимо меня к трюму «не на своих» ногах Суздальцев, — состарившийся, мятый. Его вывернуло–вырвало прямо в люк на висящих там людей. Оттуда матюкнулись хором. Я засмеялся от счастливой уверенности, что этого ничего взаправду нет, что это сон, что я свободен от кошмара…

— Готов, — сказал кто то! — Еще один трёкнулся… С концами…

…Кто–то в черной дохе докладывал, оттянув маску

противогаза:

— Там, товарищ комиссар второго рангу, или нефти полно, или вода набралася откуда–то…

— Какая еще нефть! Не в нефть же их загоняли. А вода могла набраться: этап–то — с марта, с самой весны, получается, шел, да через лето — через самую жару. И почти что через всю осень — ноябрь на дворе! И ни усмотру, ни откачки.

— Так точно! Но, товарищ комиссар второго рангу, проблема: лопатами оно никак не берется — соскользает с лопат–то: жидкое больно! Надо, значит, теперь или мешками его черпать, или баржи эти вовсе, товарищ комиссар второго рангу, баржи эти притопить совсем… До времени, конечно…

— До какого времени, мудило? До какого времени — до того, когда я расстрелять тебя прикажу?! Не понимаешь: нет тары под горючку для самолетов! Не–ет! Верховный распорядился: не позднее завтрашнего дня все эти засранные баржи передать фронту! Нас теперь, если мы их от дерьма этого не очистим, нас самих в баржу загонят скопом и тогда точно притопят, мудак! «Притопить!» Нечем горючку вывозить с Каспия! А баржи эти, после очистки, еще до Каспия спустить — полмесяца! А что фашист на Волге творит с плавсредствами, ты не знаешь?! Вот, слушай, генерал, я в последний раз приказываю: емкости очистить! Немедленно! И быстро! Быстро!

— Так точно! Только, товарищ комиссар второго рангу, рази ж этим контингентом быстро сделаешь, — слабые оне. И сами в этом дерьме очень просто могут утопнуть. В трюмах. И их там после персонально середь тех никак не найти будет. Значит побег! Кто ответит?

— Посуда нужна, Ивойлов, мать твою распромать совсем! Или сейчас в трибунале объяснить? Ты этого добиваешься? «Побег!» Вот там внизу, на этой барже и на других посудинах — сколько их «убежало» — в трюмах гниют? Сколько тыщ? Сто? Сто двадцать? Тоже ведь побег, да? Ты же их не примешь, покойников, а этапный конвой, если б не сбежал — он бы их нам тоже не сдал! И кто их всех — тыщи эти — спросил у кого?! Только тару спрашивают. Она теперь важней для фронта, чем люди, чем мы все с тобою вместе, мудак! Приказ слышал — исполняй! Завтра не я — завтра совесть моя партийная с тебя спросит, Ивойлов! Кр–ругом! И до встречи в трибунале…

В адресованных Ивойлову угрозах «товарища комиссара второго рангу» криком кричал, пёр, ломился наружу всепожирающий страх самого комиссара за собственную его шкуру: именно над ним учинена будет показательная расправа Верховного — расстрел! Его расстреляют, а не Липилова,

начальника БЕЗЫМЯНЛАГа (которого давным давно нет на свете) настоящего виновника потери на восемь месяцев тары под горючее на четверть миллиона самолетовылетов…

…В стремительном бегстве к Волге и Кавказу войска гнали перед собою полчища бывших окруженцев, просто заключённых, гражданских россиян, захваченных стремительностью отступления «легендарной и непобедимой» армии и силою обстоятельств оказавшихся в прифронтовом пространстве. Приказом Сталина 04/391 от 26 сентября 1942 года «0 штатах заград–отрядов в действующей армии» каратели, сами убегая от немцев в отступающем авангарде, в соответствии с тем же приказом, вели попутные «…расстрелы без предупреждения лиц, появившихся за чертой переднего края». В связи с тем, что число этих «лиц» постоянно возрастало, количество расстрелянных только на южном направлении перевалило — по Приставкину да по Афанасьеву — за миллион двести тысяч. И Генштаб распорядился экзекуции, временно, заменить переводом в резерв армии. Резерв этот был широко использован при защите Сталинграда. Малая его часть вошла в боевые подразделения. Большая — снова в зоны, под пули СМЕРШ. Многие были расстреляны. Но в марте расстрелы прекратились. И оставшихся в живых качали спешно свозить в оцепления, развёрнутые у Дербента, Сумгаита, Махачкалы. В то же самое время, в такие же зоны у Баку и Сальян сгонялись точно такие же «резервы», только прибывавшие перед остатками армий, загнанных немцами в Закавказье. Они тоже были использованы. Затем так же выборочно подвергнуты были экзекуциям…

И вот, все внутри оцеплений у Каспия. Почему же приказ Верховного не был до конца выполнен? Почему у СМЕРШ вырвали вдруг из зубов законную их добычу? Почему стервятников лишили вожделенной крови россиян? Тому была причина. Перед руководством трёхмиллионного БЕЗЫМЯНЛАГа что под Куйбышевом возникла проблема — катастрофическая нехватка рабочей силы! На его лагерных пунктах — от систематического голода и болезней — заключённые гибли в невероятном количестве. Считалось даже, что и хоронить их некому и своими незачем — придут немцы — схоронят… Потому, по осени, с началом морозов, погибших штабелями укладывали «до весны» внутри и вдоль предзонников.

Непрерывно отовсюду прибывавшие этапы потерь не покрывали. 0 кавказских «резервах» еще не знали. «Ничего не знали» о них ни в самом СМЕРШе, ни в Генштабе. Но о них не мог не знать Николай Александрович Булганин, зампред Совета Министров СССР, а чуть позже и член Госкомитета обороны и

заместитель Сталина по наркомату обороны. Он когда ещё посоветовал своему родичу Липилову — шефу БЕЗЫМЯНЛАГа — затребовать контингент зэков, осевший в лагерях на Каспийском побережье Кавказа! Тем более, что местные кунаки и собутыльники Булганина из фюреров республик Закавказья и Дагестана во что бы то ни стало пытались избавиться от огромной массы зэков, квартировавших в их сатрапиях: их надо было кормить и охранять. Оставалось или похоронить их, или угнать. Узнав о них, руководство Безымянлага сразу сообразило, что эти зэки — спасительный и до удивления простой в его ситуации выход. Жило оно в вечном страхе от мыслей, что вдруг авиазаводы на Безымянке не выполнят задания комитета обороны «по наращиванию мощностей авиапрома»! Пока они задания выполняет, но какой ценой? К началу весны 1943 года в БЕЗЫМЯНЛАГе Управления Особого строительства НКВД СССР погибло более миллиона заключенных. Из тех контингентов, что этапами 1941 года нагнали туда из десятков других лагерей, и прямиком из московских и ленинградских тюрем, а в самом начале войны — из тюрем и лагерей и просто с брошенных красной армией территорий Украины, Белоруссии, Прибалтики…

Никакими спонтанными арестными акциями, никакими репрессивными кампаниями восполнить армии погибших на Безымянке работяг–зэков было невозможно: война к этому же времени перемолола миллионы россиян и продолжала оттягивать на свои фронты новые их миллионы, опустошая — вместе с массовыми расстрелами и «бескровными» тюремно–лагерными «победами» над собственным народом — трудовые ресурсы страны. И если даже спровоцировать Булганина на чрезвычайные меры — выпотрошить Сибирскую ссылку и ополовинить тамошние спецлагеря вкупе с лагерями на территории Монголии, все равно несущая на себе гиганский грузопоток Транссибирская магистраль пропустить такую массу заключённых с Востока в Поволжье не сможет.

И вот, выход появился! Почти рядом, — в каких–нибудь тысяче семистах километрах водою, на Кавказе, — без дела, жря народный хлеб, — болтается сотня тысяч спецконтингента, сбитого в зонах вблизи Каспия! Остаётся только перегнать его под Куйбышев, на Безымянку. Каким образом? Да самым дешевым и надёжным — рекою. Не гнать же его кружным путём через Каспий да эшелонами по Средней Азии, Западной Сибири, Уралу и пол Европе до Самары! А водой — шестьсот километров до Астрахани, морем. И Волгою — километров тысячу с небольшим. Конечно, гнать баржами. Нет сухогрузных? Нефтеналивняком гнать! И его нет?! Он весь под Армией? Ничтяк! Возьмём, если

сам Азербайджанский генсек Мир Джафар Багиров В интересантах!…

В Аляте, в Пирсагате, в «26–и Бакинских комиссарах», в Сумгаите, в Дербенте, в Махачкале — во всех портах Каспийского побережья Кавказа — в огромные баржи–танкеры загнали, битком набив, тысячи еще живого «резерва». И ещё доходяг из лагерей железнодорожной стройки «местного значения», — значит, списанных за ненадобностью и потому вычеркнутых из «питательных ведомостей», — закончивших прокладку дороги Сальяны — Ленкорань. Этот контингент — из западных украинцев, литовцев и российских немцев — был, надо сказать, вовсе дохл: «кормили» его до списания сгнившим рыбьим потрохом, что шел на туки, «поили» из ливневых арыков. Трупы погибших, «выдержанные» в ишачьей моче и «наряженные» в «шубы» из зелёных мух, сметливые аборигены — поставщики «Двора» и кремлевок — скармливали подрастающей молоди осетровых, сбрасывая тела в нагульные бассейны и садки рыборазводных станций…

Теперь им всем — «резерву» и рыбьему корму — предстояло пройти еще один, — уже последний для них, — круг большевистского ада. Ведь не только осетровые, и даже не столько сам «Безымянский военно–промышленный комплекс», и даже не «Великая отечественная» война, но сама система требовала человечины!…

Двигались черепашьими шажками. Еще до Астрахани узнали: буксиров нет! Немецкие лётчики по–сейчас топят на Волге всё подряд. Буксиры особенно.

Но караван пока ещё тянули каспийские — «от Багирова» — буксиры. Перед Астраханью стали. В какие то баржи добавили пленных немцев — тысяч с пять. Покидав их в танки, азербайджанский конвой колючей проволокой намертво позакручивал замки–заложки люков и всех остальных барж. Первый, — ещё до Астрахани, — «пункт питания», где конвой должен был получить положенные ему для еще живых зэков хлеб и рыбу, был пуст. Качать права он не стал — бесполезно! Решил двигаться, ожидая, пока народы в трюмах поуспокоятся. Но когда и в Астрахани «пункта» не оказалось, как не оказалось их дальше, надежды аскеров на реализацию горы теперь уже точно только им принадлежащего хлеба и рыбы рухнули. Вместо них пришло понимание, что кто–то крупно — крупнее быть не может — их обошел. И что за спиной у них этот «кто–то» глубоко и широко гребёт к себе все эти тысячи тонн ничейного, но бесценного хлебца, — из расчёта пятидесяти пяти тонн в сутки, да рыбки — тридцати трех тонн…

…Десятисуточный участок Каспий — Саратов тянулись семьдесят шесть дней — не подходили буксиры. У Чёрного Яра «Мессера» — или дурные мины — две баржи затопили. Поплелись дальше, никому уже не нужные. А ведь все эти посудины отняты были сановными преступниками из уже и так опустошенного немецкой авиацией стратегического резерва. И теперь, забитые трупами, потерялись в просторах великого водного пути. А авиационные соединения центрального и Воронежского фронтов, ведущие тяжелейшие июльские оборонительные бои против немецких армейских групп «Центр» и «Юг», из–за не подвезенного горючего — нечем было его подвозить — лишились авиа поддержки и несли немыслимые потери. Еще большие потери понесут они в июльско–августовских боях под Орлом, Белгородом и Харьковом…

Только к середине ноября 1943 года все баржи разрозненными караванами наконец подтянуты были судами Волжской Военной флотилии к району Красной Глинки, что севернее Куйбышева. Армии нужна была только тара под горючее. За «посуду», но не за замученных и сгнивших в этой «посуде» людей, спросится с преступно не выполнивших распоряжения Верховного!

Всего этого мы в ту страшную ноябрьскую ночь 1943 года у Волги не знали — не могли знать. Но, слушая людоедский диалог двух преступников, понимали: свара между ними идет не на жизнь, а на смерть. Здесь уже не до субординации было: через сутки того и другого потянут на правеж, результатом которого будет только «стенка»! Она неотступно маячила теперь перед глазами областных бугров примером «Бряндинской расправы», по своей сравнительной мизерности ее причин несопоставимой с этой вот, что выплыла теперь из осенних волжских туманов…

Деревообделочный комбинат УНКВД Ульяновской области по чистой случайности на три часа задержал контролируемую отправку железной дорогой Каслинскому, на Урале, снарядному заводу партию одной из тринадцати деталей ящиков для боекомплекта. Поезда с двенадцатью номерами дощечек пришли заказчику точно в срок, а прицепленные к другому составу восемь вагонов со злосчастной тринадцатой деталью «спец укупорки» опоздали. Сам же этот состав задержан был диспетчерами сортировочной станции Кинеля, — пропускали вне очереди- на фронт(!) шесть литерных эшелонов. В момент приемки не досчитавшись детали, наученные горьким опытом каслинские заказчики немедленно, как положено, донесли в Комитет Обороны о «недополучении» комплектующего изделия. Их тоже можно было понять: на территориях бесчисленных уральских

заводов боеприпасов накапливались горы готовых снарядов и мин, таящих смертельную опасность и для самих предприятий и для забитых людьми, лепившихся вплотную к взрывоопасным «терриконам», рабочих посёлков. Тем более что немецкие разведчики уже начали появляться над Уралом, предвещая бомбежки. Через сутки прилетевший в Бряндино трибунал мгновенно «разобрался» с «вредителями и диверсантами» из ульяновских энкаведешников: одиннадцать руководителей этого почтенного ведомства были тут же расстреляны…

У нас же было не ЧП с задержкой дощечки — здесь, наполненные трупами тысяч зэков, «дерьмом», которое «лопатами не берётся», наваждением маячила в моросном тумане ночи армада нефтеналивных барж.

В сущности, львиная доля сохранившегося к 1943 году Флота Волги и Каспия. Уведенные преступно из оборонного резерва, они восемь месяцев болтались на просторах огромной реки, тихо губя замурованных в них людей. В военной горячке, охватившей громадную страну и её граждан, «отстаивались» спокойненько в горящей Волге. И так же, спокойно и тихо, добрались до места назначения с… семимесячным «опозданием»…

— Да что там «трибунал», товарищ комиссар второго рангу! Трибуналом прежде надо было стращать, да тех, кто это безобразие затевали. Или не знали оне, — кто танкеры у фронта отобрали, — что немцы на Волге творят, и что по–перву топят? Знали. Возможно даже, что и рассчитывали на это, сроки буксировки назначая. «Тридцать суток!». Вот они, эти «тридцать»! А две с половиною сотни суток не хотите?!

— Т-ты это мне осмеливаешься говорить?! Т-ты?!

— Я. Я осмеливаюсь! Я, товарищ комиссар второго рангу, и трибуналу сказать это не побоюсь. Бояться мне нечего: не я эту аферу затевал с зэками, да с пустыми пунктами питания, да с буксирами–невидимками! Много художеств повидал — старый уже… Но таких…

Тут даже я, наконец, сообразил: боров–то наш, Ивойлов, — не лыком шит! Он ведь этот разговор–бодягу затеял при нас неспроста. Они, чины энкаведешные, вообще то, при нас говорить не стеснялись. Не такие еще разборки вели промеж себя, полагая нас существами низшими, вроде животных, перед которыми стесняться не пристало. Но здесь, на палубе страшной посудины, Ивойлов затеял разговор неспроста. Он свидетелей к предстоявшему трибуналу готовил. И темою свидетельства были не погубленные в трюмах люди, а всё та же «тара под горючее» — предмет интереса Верховного. И ещё: совершенно непонятные действия — или полное бездействие — задумавших и

отправивших в никуда множество людей! Понимать его надо было так: дело с этапом нечисто. Он это предположение, тет–а–тет, высказывает коллеге–начальнику. Без свидетелей — на всякий случай. Но… хочет, чтобы свидетели всё же были…

И они будут! Будут они!

— Все! Я с тобой больше здесь говорить не стану — в управлении у меня договорим…

— Поздно будет — в управлении–та! Завтра срок! А до завтрева я отсюда никак уйти не смогу — люди мои здесь. И баржи — вот они. Тут. Стоят. Ждут. А снизу другие прут — военные теперь за них ухватилися хватко — по второму разу уже не отберешь у них! Теперь они баржи эти нам повставляют: радёвка за радёвкой мне на стол кладется почасно! Читать не успеваю… И вот, товарищ комиссар второго рангу, к завтрему очистить все эти посудины приказывается, а мы на первой этой двенадцать часов топчемся, и одну ее никак опорожнивать не начнем — тысячи же покойников, — это в одной только! А в тех? А дальше, которые на подходе? Они ведь и вовсе за сутки не подойдут. Тут надо все по–другому делать. А как? Нет опыта, товарищ комиссар второго рангу, как в таком разе здеся, при такой густоте населения поступать. На Дальнем Востоке после приказа июльского тридцать седьмого года номер «ноль ноль четыреста сорок семь» мы баржи из Благовещенска не выгружали вовсе, а притапливали…этта, топили, значит, там же, в Амуре, наспротив Николаевска. А тут мало того, что не очистить никак, а сами–то баржи не трожь — тара! И еще вопрос, товарищ комиссар второго рангу, — куда все содержимое, значит, разгружать? Вот — вынесли, к примеру. А дальше? Вопрос, товарищ комиссар второго рангу. Бо–о–ольшая политика! Ладно, — наверху траншеи роют. Что б свалить в них. Так ведь на всё берега не хватит — столько их покойников набирается по сводкам! В прошлом году можно было все в воду — в реку, — там без этих Волга покойниками исходила, солдатами, вольными ли. Все к одному. А теперь нельзя. Народ кругом. А он и так все узнает — не в зоне получилось. Подумал кто?

— Не твоего ума дело, — не то устало, не то примирительно констатировал комиссар. — Ты разгрузку организуй, ученый. Любой ценой и способом любым. Не сделаешь — ответишь головой…

…Я вернулся в трюм, когда на баржу начали заносить мешки. Они были из крафт–бумаги, старые — в цементе. И, измокнув, сразу раскисали. К утру, изредка выползая наверх — отдышаться, — долго терпеть запах, и остальное всё, было невозможно, — мы выдали на палубу сотни три–четыре мешков. Но в трюме всё было

как прежде и вовсе на сон не походило.

С берега крикнули, чтобы мы вылезали — оправиться. Мы выбрались на взлобок. Легли. Вонь из трюмов казалась здесь ещё гуще, хотя северный ветер вдоль Волги, обогнув Жигули, дул сильно, и запах, вроде, должен был относить. Тут «Студики» на буксирах притащили полевые кухни — настоящие, солдатские. В покойницкий дух вплелся, вызывая новый приступ тошноты, острый запах свежеиспеченного хлеба. Будто по команде, всех снова вывернуло. Когда вселенский пароксизм рвоты приутих, мы опять легли — ни сил, ни позыва не было подняться и идти к кухням. Не до еды было. А вокруг уже мельтешили, раздувая огонь под котлами, повара в фартуках, и пёр настырно хлебный дух. Вообще–то, для нас должны были привезти обычное зэковское пойло. Потому солдатские кухни ещё и насторожили: не иначе, нас, за сатанинскую нашу работу, решили накормить человеческим едовом. Возможно даже — в счёт экономии на тысячах загубленных зэков, — чего не бывает… Или, может, задумали в последний раз досыта накормить. Ведь ещё и не из–за таких «экскурсий» в трюмы, ещё из–за приобщения не к таким делам своим, не к таким «тайнам мадридского двора» начальство насовсем прятало свидетелей!

А может и так — очень хотелось верить и в такую версию: спохватилась власть, что — да — один зэк еще, конечно, не человек, но тысяча, и, тем более, многие тысячи — люди всё же. Не просто «РАБсила», падло, пыль серая, но люди! Такой этап из Баку! Неужто не задумался никто? Неужли не ужаснулся?

Не ужаснулись.

Свидетельство тому услышанный нами диалог на барже — разговор двух пожилых людей. Отцов чьих–то, дедов. Любимых, верно, и любящих. В разговоре их — пусть под прессом навалившейся на них смертельной угрозы собственным их жизням, значит, угрозы всем их любимым, любящим, — в их перебранке мы не услышали, не почувствовали и тени жалости к погибшим. Даже жалости казённой, рассчитанной

только на нас — свидетелей их преступлений. Той жалости, что теплится даже в чёрной душе рядового убийцы. Ничего этого мы не услышали и не почувствовали. А увидали только животный ужас за собственные шкуры и только в связи с «ёмкостями под горючку» — под «посуду на четверть миллиона самолёто–заправок»! Они уверены были: никто не спросит с них за убийство в баржах! Как не спросит за более чем миллион умерщвлённых к тому часу на Безымянке, на множество безымянок по всему государству, где за четверть века загубили они армии россиян…

…Голодные до беспамятства, к еде не подошли — поплелись

к воде. Полезли в трюмы. И там, обессиленные и опустошенные, погрузились в ТО, что когда–то было живым, что недавно ещё дышало, надеялось и билось в смертном отчаянии о переборки танков, захлебываясь воплем и собственной кровью… И погибало — медленно и мучительно — забранное в железо… Час. Или два. Или вечность мы черпали мешками Человеческую Плоть и передавали ЕЕ вверх — в люки — висевшим на скобах товарищам. И вновь черпали, сливаясь с НЕЮ. И замирали, когда новый вал катился по ЕЁ поверхности. И все эти страшные часы собственной нашей казни присутствием висело над НЕЮ, над нами, над миром студенистое облако сиреневого пара — истерзанного духа человеческого, ещё более холодного, чем ОНО САМО. Пар был ещё более плотным, чем ОНО, и потому непередаваемо более страшным…

В какое–то время мы вдруг ощутили, что пар этот проник в нас и пропитал насквозь. И тяжесть ЕГО была так непомерно велика, что мы перестали дышать и стали тонуть, бессильные сопротивляться ледяным веригам плоти. Тогда, вытаскивая друг друга в спасительное жерло люка, мы вырвались к воздуху. Истошными голосами белошубники завопили было: «Наза–а–ад! Наза–а–ад!». Но мы расползались и расползались по палубе, проваливаясь в ослепляющую густоту света вспыхнувших вслед за криками прожекторных лучей. А вокруг свирепствовала НОЧЬ. Та, которой загнали к НИМ, или уже другая, или третья… Здесь, на свету, мы увидали, во что превратил нас трюм: ничем мы не отличались от ТОГО, что трюм наполняло. Тогда молча — а говорить мы уже не могли — двинулись к борту. Разглядев нас, белошубное воинство отодвинулось, и тоже молча покинуло палубу. Мы спустились в воду. Светало. Солдат расставили вдоль берега по пояс в воде. Мы пошли за ними и попытались о т мыться. Окоченевшие еще внизу, в трюме, мы не почувствовали ни терзающего холода ноябрьской волжской воды, ни смертной вязкости облепившего нас осклизлого Праха Человеческой оледенелой Плоти — трюм ободрал нас, как псов на живодерне… И река не отмыла… Теперь нас можно было совсем сбросить в Волгу. Или убить на месте. Но получасом назад мы выдали из преисподней наши последн и е мешки. Нас «притормозил» беспредел, который бросает людей на автоматы или вспарывает собственные глотки… Они это поняли. И тут же снова нас, распростертых на берегу, позвали к кухням, — уже пошли третьи сутки с ночного подъема в зоне. Но мы никого не услыхали. Нам приказали снова лезть в люки. Мы не поднялись. Озверевший от толпы беснующегося начальства, от мертвецкого непереносимого духа, от близости ТОГО, что стыло в трюмах, конвой крушил нас

прикладами, топтал сапогами и, отчаянно матерясь, пытался травить овчарками. Но теперь вонь от нас была страшнее пришедшей с Волги. И псы зло огрызались на поровших их поводками проводников и совершенно в человечьем отчаянии бросались на них, вгрызались в полушубки, в оружие, во всё, что подвертывалось под их клыки. И, воя, оттаскивали от нас солдат!

Распаляясь бессилием, исходила ненавистью, билась в истерике вокруг толпа ивойловых и суздальцевых, голосил полк чиновных бездельников и дезертиров, визжал из–под оттянутой маски управленческий генерал–коротышка, подпертый тремя молодыми холуями. Стадо рептилий натравливало и натравливало на нас солдат–конвойных в теперь уже совершенно бесполезной попытке принудить убрать за ними, спрятать за них все тою же «очисткой нефтеналивняка» еще одно преступление, совершенное ими вот в этих, маячивших у берега Красной Глинки, баржах. От которого никуда не деться, не уйти, не спрятаться. Тогда — под вопли белошубной сволочи — мне померещилось, что наше — впервые за эти страшные дни и ночи — сопротивление их попыткам заставить нас лезть в трюмы напугало их. Они, ответственные за «тару под горючку», будут теперь отвечать и за погибших в ней. Просто, и это лыко вставят им в строку. И учинят им «то ещё» Бряндино! Потому — казалось — дыбом стояли у них волосы, — у безымянлаговских и областных бугров. Ведь они — профессионалы. И потому знают, что произойдёт с ними и, по законам системы, с их семьями по окончании не «чужой», бряндинской, а вот этой вот собственной истории с содержимым нефтеналивных барж…

Через несколько часов память и око Верховного упрётся в баржи… А их ещё и не начали как следует очищать. Потому страх распалял убийц до истерики. И гнал, гнал на нас. А было нас теперь более семисот — ночью прибыло пополнение. Сходу — с машин — оно тоже улеглось на взлобке рядом с нами. Конечно, можно было, или, убрав, или перестреляв нас, пригнать на разгрузку новую партию зэков. На Безымянке было нас «за два миллиона». Но полишинелева тайна БАКИНСКОГО ЭТАПА уже выплеснулась из барж и, не без помощи белошубной банды, растеклась по волжскому берегу. Тем не менее, скандально упущенную преступной нерасторопностью самого большого в СССР оперчекистского контингента, тайну содержимого трюмов барж следовало по возможности уберечь от дальнейшего распространения. Её нельзя было впустить в находящийся рядом огромный город — в фактическую столицу воюющей страны. Тем более, в чреватый непредсказуемой реакцией на случившееся БЕЗЫМЯНЛАГ. Тайну необходимо было загнать обратно — в

трюмы. И там похоронить. Но не похорон её ожидал Верховный. А в моросном тумане хмурого волжского дня уже видны были всем стоявшие на якорях, под охраной кораблей Волжской флотилии, чёрно–ржавые махины корпусов наполненного мертвецами «нефтеналивняка».

…Измёрзнув до позвонков, двое с половиною суток лежали мы в стылой жиже на ветродуйном взлобке. Команда была: — «Мордой в землю! А зашевелится кто — рапть автоматами!». Всё это время не отходила от нас белошубая команда — надеялась, что сломит. Переживала вслух и кары измысливала, которыми покарает нас, если «не опомнимся, не подчинимся». Спала урывками в кузовах «Студебеккеров», в антрактах качая права и подтравливая на нас совершенно обессиливших без сна и задёрганных солдат–конвойников.

А мы всё лежали, прижавшись друг к другу. И только одна общая мысль терзала: вдруг окончатся силы, уйдут в замерзающую грязь. И мы не сумеем сорваться разом в броске к уже приглянувшейся каждому шее.

Всё же, почти семь сотен кессонщиков! И если всем сразу?! Броском! Добрую окрошку можно сварганить из белошубной падали! Если всем враз! Но наши бредовые задумки рушились, вроде: в ночь на третьи сутки новый отряд шуб прибыл. И с ним вместе два батальона «Спецназа» с полусотнею овчарок. После «совещания» вокруг комиссара «второго рангу», полковник — начальник карателей, картинно–зябко кутаясь в длинную и необъятную даже для его корпусной фигуры доху, подошел к нам. Сказал негромко, «по–хорошему»: — Отдохните, мужики, ещё чуток. Мы тут пока заправимся. И кончим с вами, если не подчинитесь. Лады? А «Ваньку валять» больше не позволю. — С тем отошел. И вместе со всею начальственной кодлою занялся хорошо нам видными фирменными кулёчками, яркими банками, термосочками — усиленным питанием для поддержки наших палачей, присылаемым в СССР от лица благодарного американского налогоплательщика. По сегодня не сомневаюсь: именно, термосочки–кулёчки всё и решили. Даже «молчун» Андрюс Куприс, который всегда «моя хата с самого краю», сказал: — Скомандуй–ка, Стёпа, чтоб вежливого этого полковничка никто, окромя меня, не поимел… У меня с ним беседа будет. —

— Добре! Однако, обождёшь, покуда похавает он? Или как?

— А чего ждать–то? Самое время: они как раз бациллу давят, с-суки позорные. Потому кровь ихняя вся в кишках, а в мОзгах пусто.

И вскочив, запустил в своего оппонента плоскую каменюку…

— Што?! Хто?! Хто камень кинул, падлы?!… От–тряд! К бо–

ою–у-у!

— К бою, мерзавцы! — выкрикнул неожиданно Плющихин — доктор. — К бою! Будет вам бой за всех покойников в баржах! Ответите за каждого! Да! Да! Ответите за них! Не перед нами, так перед народом ответите!

— Хто агитацией занимается, падлы?! Хто?! — Полковник осатанел от камня и враз растерял наигранное «спокойствие» — Кричал хто, паскуды?

— Все кричим, — тоже «по–хорошему» и негромко проворковал Абраша Стаковер.

— А тебе, заразе, и крикнуть не дадут когда за эти вот художества вмажут кугель в загривок, подонок!… И закончил сердито: — Да! Покойники в баржах тебе–то отольются, как пить дать…

— Я–а–а…! Т–тебя–я-я!… Ж-жидяра пархатая-я! — завизжал полковник. Выхватил пистолет. И, сбрасывая с плеч доху, козлом запрыгал по лежащим людям. Конвойники тоже вскинулись! Заклацали затворами автоматов. Стали набегать вразнобой. Но тут, очень во–время, новоприбывшие «спецназовцы» выскочили из–за машин и припустили своих овчарок на самые длинные поводки — травить и рвать нас. Потом они бросились к нам. В сторону Плющихина и Стаковера брызнули красные трассы…

— А пёсики–то свеженькие! — успел крикнуть вдруг Виллик Круминьш. — Сейчас пёсики нас учу–уют с нашим говном! Будет потеха, братцы -ы!…

И точно! Полковник почти добрался до Стаковера, уже вставшего на ноги навстречу…

Ослепляюще «взорвались» прожектора… Смешались «Спецы» с конвоем… И тут — враз — вся собачья свора, — те самые полсотни овчарок, — смолкла… На мгновение свалилась на задницы… И молча же рванула прочь от вдруг нахлынувшего на неё — теперь уже нашего — покойницкого духа! Собаки яростно выдирались из свалки, подсекая солдат поводками!… Андрюс поймал, кинул на себя полковника… Отбросил тотчас на кувыркавшихся солдат… Кого–то ещё рванул к себе… Снова бросил… «Приёмчик» Андрюса был незатейлив: комбинация неистребимой ненависти к разорителям его литовского дома, железных рук перфораторщика, уточнённого в эти дни и ночи адреса «долгожданной беседы». Конвойники, по–дурному втянутые уже упокоенным Андрюсом полковником в свалку, очутились с негодным для рукопашной оружием в ситуации для них убийственной — в плотно охватившей их толпе яростно работающих ножами и заточками озверевших зэков!… Ни на зонах в спешки ночного подъема, ни перед посадкой в машины

конвой нас не обыскал, озабоченный одним: быстрее добросить нас к Волге и там загнать в баржи. И теперь зэеи, доведенные увиденным в трюмах до сумасшествия, в развернувшейся — действительно, не на жизнь, а на смерть — схватке, остервенело резали солдат и ненавистное белошубое воинство страшным тюремным оружием. Вырывали у живых ещё, или уже у мёртвых конвойников автоматы, и в упор расстреливали уже и не пытавшихся защищаться, а лишь норовящих вырваться из свалки обезумевших от ужаса солдат… Погасли разбитые прожектора. Но прежде, чем тьма упала на нас, мы успели заметить, как, бросая добиваемых бригадниками солдат, рассыпаясь вдоль берега, рванулись прочь остатки белошубников… Их бегства нельзя было допустить — Степан кричал, что их казнить всех надо, всех до одного! И, еще сильнее озлобясь, люди кинулись вдогон… Страшно и отвратительно вспоминать, что было вслед за тем, как настигали их… Но надо помнить, чтО эта сволочь показала нам в трюмах! ЧтО она нам продемонстрировала !

…Зарезанных и расстрелянных на взлобке мстителям оказалось мало — люди метались вдоль берега и по степи в поисках каких–то ещё карателей, находили их, настигали во тьме и, в исступлении, рвали в клочья…

…Мы все были обречены. Обречены одним лишь «фактом оказания сопротивления». Потому никто никого не жалел, как не жалел себя, как никто никогда не жалел нас. Правил толпой беспредел, — тот самый, что направлял белошубых зверей. И он же оповещал нас всех, что теперь никуда мы отсюда не уйдем — руки поднявшие на святая святых подлейшей из систем власти — на ее силу, на армию ее подручных и палачей, да еще во время войны! И это — расстрельные статьи: 58–1, 58–2, 58–8, 58–14. И нам всем не жить! Но безымянлаговские подонки нас бы и так, без этой резни, не выпустили живыми, чтоб спрятать своё преступление — «БАКИНСКИЙ ЭТАП»!

Мы считали минуты, в которые разбежавшиеся и чудом спасшиеся конвойники доберутся к замершим посёлкам — к телефонам. И вычислили: жить нам оставалось час…Ну, полтора… Они не остановятся перед уничтожением всех сцепившихся на взлобке у Волги — зэков ли, или даже своих же вертухаев и солдат: им «локализовать» прикажут «инцидент». И тоже — любой ценой. А уж за ценою они сроду не стояли. Что теперь делать? Бежать? Или резаться до последнего — «оскомину» сбить на режим?…Дорого себя продать? Так ведь который год продаем, а покупатели только теперь явились! А время бежит стремительно. И вот уже замечаем в темноте: товарищи наши — по бригаде и по бараку, — уголовная братия,

— не философствует напрасно, время не теряет. Резала она «ментов» от души, с размахом, — и, субстанция прагматичная, — успела в паузах принарядиться по сезону в содранные с вертухаев полушубки и сапоги, обзавестись оружием — «по чину» и чтоб «пронести»… И даже частью слинять небольшими группками…

Надо попытаться уйти и нам. Если есть у нас шанс… Пора. Самое время. Все благие причины, по которым многие из нас до сих пор бежать не считали возможным — они теперь смысл теряли. Я не считал себя вправе собственным гипотетическим побегом обречь стариков и брата — где бы они ни были — на новые муки: с ними расправились бы по–страшному в Колымской, — как я думал тогда, — дали! Но после нашего с Мотиком Сосен*) декабрьского, 1942 года, свидания, всё изменилось. Приобретенное тогда моими американцами — всё же керюхами по «антигитлеровской коалиции» — право знать, что происходит с нами, уже работало! Маму с отцом и брата советские власти, без серьёзных на то причин, — (как полагал я) не тронут. А вот мне после этой ночи уж точно — не жить! И если побег — единственный шанс выжить, то не воспользоваться им в этой ситуации, — когда все силы зла против тебя, а выход один, — чистое пижонство.

А пока мы тут истязаем себя беспредметными сомнениями, область и лагерь уже гонят сюда карателей, которые — точно — комплексом сомнений не страдают! И исполнят свою работу в лучшем виде.

— Степан, — спросил я. — Народы линяют! Может, и нам пора?

— Пора! Сейчас только Васыль снизу вернется… Они, верно, район уже оцепляют по–крупному, — сверху только, со степи по–вдоль Волги.

По темному времени они вниз, к воде, не сунутся. И конечно, и скорей всего, с фарватера реку они уже перекрыли, с-суки… Васыль вернется — узнаем. — Слышь–ка! А что, если нам на баржу вернуться и в трюме пересидеть? Они туда если и сунутся, то только напоследок, когда от крови устанут. Главное, они без собак там навроде слепых и глухих, а собачек теперь к берегу не подтащить, им верха — и нас с нашею блевотиной — хватило. Видал, какую они свалку устроили, собачки?!

Прибежал Васыль:

— Львовича и Абрама нету нигде!… И начальства! И оцепления снизу никакого нет — сбежали, падлы! … Между прочим, народы–то на «Студиках» отрываются полными машинами!… Да! На нашей барже солдат несколько… Может, и их трюма выгребать нагнали?

— А видно?

— В том и дело, что ничего! Темень! Но солдат видать — по фонарям, которые нам давали… И то ли трап скинутый у кормы просматривается, то ли стрела переломилась к воде, — темень!

— Ладно, собирай людей — наших только, понял! Игрушки кончилися!

Через несколько минут мы поодиночке начали уходить вниз, к реке.

Толпа на взлобке быстро редела. Веселье мести кончилось. Крови вылилось «под завязку», насытив жаждущих и напугав случайно влезших в свалку. Часть зэков бежала — к привидевшейся воле. Часть, — от страха перед карой, — за кровь. Все понимали — воля коротка, кара настигнет…

Никем не замеченные, кинув в воду оружие, жалкие остатки бригады вплавь добрались к свисавшей стреле. По ней, ползком, влезли на палубу, огляделись в густой и непроглядной предутренней тьме. Берег был виден плохо, но движение толпы просматривалось по автоматным трассам и по мельтешению теней, передвигающихся у зажженных автомобильных фар. Отсюда оно показалось еще более грозным, а пространство, охваченное побоищем, огромным. Даже призрачная удаленность от ветродуйного взлобка почему–то успокоения не несла. Быть может, из–за того, что рядом в темени ночи на этой же посудине болтались где–то те же конвойники…

Тут появившийся из тьмы Васыль доложил: солдат на барже человек семь–восемь; все сидят у фальшборта будто трахнутые и глядят на берег; чего ждут — неведомо; так же, как и мы после трюма, до макушки вымазаны в ЭТОМ и, верно, воняют так же… Еще: были они в первом, «нашем» танке — только его люк откинут, но кто–то работал еще в двух следующих трюмах — около их захлопнутых люков тоже навалены крафт–мешки и валяются неубранные — с ЭТИМ…

— Так, мужики, — делать нам пока больше нечего, как пересидеть во втором или в третьем трюме. Ни лодки у нас нет, ни досок или балана, чтоб плотик смастырить. Вплавь по такой воде — через минуту судорога — и кранты! И по теплой бы воде никуда нам не доплыть — которые сутки без жратвы. Сил нырнуть нету… Но есть шанс: так дело идет, что баржи эти у лагеря военные отберут — тара им так и так нужна. И если отберут и перечалят в другое место — тогда поглядим, как жить дальше будем. Что второпях слиняли с того хипежу — дельно. Однако же, не прихватили харча, а его у машин навалом. Если не поздно ошибочку эту исправить, может кто, по шустрее кто, смотается на берег, если сила наберётся? Нам же — в трюм.

Теперь — пока тихо — разговор, мужики: если уйти не получится и возьмут нас на барже — знайте: мы все здесь с первой минуты, как нас сюда начальство спихнуло; и никуда мы отсюда не спускались, — ни отмываться, ни к котлам, — сил на то, вправду, никаких не было. Замётано? Заметано! Теперь, сил у нас сейчас еще меньше. Но из последнего, когда солдаты с баржи слиняют, нам требуется не так пересидеть, как из люков вытащить на палубу, сколь сможем, мешков с ЭТИМ. И до посинения упираться: мол, нас сюда загнали и мы вкалывали, как могли, и сменки дожидались… Все! Ну, а когда стрельба началася, мы и вовсе носа из трюма не казали — боялись заденут… На том, мужики, стоим. Так?… Заметано!

А на берегу всё вскоре переменилось: там громко за командовали; снова зажгли прожекторы, но не те, что были расстреляны — из степи уже. Шустряки наши едва успели вернуться со взлобка, не добыв бацилы. И первое, что увидали мы в вспыхнувшем свете — цепи солдат, перебегающих вдоль берега у самой воды! Они оцепляли взлобок и толпу на нем… Еще мы увидали несколько подкативших к месту боя машин с солдатами… В эту минуту на палубе началось движение: забегали до того тихо сидевшие конвойники–вычищальщики, понесли на бак лестницу, которую, видно, убрали на всякий случай, когда на взлобке начался шум… Сбросив ее вниз, они быстро спустились в воду и исчезли во тьме. Мы остались одни. А к взлобку все подходили и подходили машины с карателями. Толпа было подалась к воде, но тут с разных сторон в ее гущу понеслись красные трассы автоматных очередей и начался крик вперемежку с треском автоматов. Треск был сплошным — били длинными очередями. Толпа отпрянула от Волги. В образовавшееся пространство между нею и берегом вылилась в свет прожектора откуда–то взявшаяся орава вездесущих белошубников. Теперь уже, кроме пистолетов, вооруженная автоматами. Хором голося и стреляя по толпе, они, словно отрепетировав, пригибаясь и строем перебегая, картинно карабкались на взлобок. Крики раненых и умиравших людей в толпе перекрыли автоматный треск, — там, видно, все шло к концу: каратели «долокализовывали» мятеж…

— Самое бы время и отсюда линять, — во–она что они творят! Кончат с теми, что окружены, и пойдут шмонать берег и баржи! Чего ждать–то?!

— Куда линять, — в воду? Так то ж смерть… Сами почуяли, когда лезли на баржу, и тут до сейчас не отогрелись…И дошли окончательно.

— Так все одно — кранты нам! А река, может, побережет,

вынесет куда–нибудь…

— Все туда же и вынесет…

…Поглядите, мужики!

Мы глядели во все глаза.

…Как в старом добром кино «про гражданскую войну», сцена расстрела «наших» была неожиданно нарушена резким воем сирен выскочивших внезапно из–за снежной кулисы двух бронекатеров. Обвешанные огнями, они неслись прямо к нам — на нас, будто их капитаны задумали выбросить их на берег! В последнее мгновение, проскочив вплотную у кормы нашей баржи, лихо сработав сиреной «полный назад!» и круто зарывшись в воду носами, они эффектно осадили метрах в двадцати от берега, обдав убегавших вверх по откосу белошубников крутыми пенными валами. На их палубах задранными вверх оглоблями торчали счетверенными стволами то ли ЗПУ, то ли ЗАК-и — в снежной ряби было не разобрать.

— Э–Э–Эй! На-а берегу–у–у! — прорычал в радиомегафон сиплый остуженный голос.

— Что там за базар?! Кто — начальство?… Снима–а–ай люде–е–ей с посу–у–уды! Уво–о–одим сейч–ас всю-ю!

— Это как же, — уводите?!… — Прокричал с берега кто–то командным голосом.

— Так и уводим, не дождясь! Или не вам приказано было: «Посуду освободить!»? Ва–а–ам! Теперь без вас освободим! И вас тоже — за посуду эту! И за «художества» ваши…

Теперь к берегу сбежалась уже целая толпа начальства, распаленная расправой на взлобке. В толпе задвигались возвратившиеся из бегов областные и безымянлаговские бугры. Один из них, высунувшись, крикнул:

— Это кто приказал — уводить?! Чье распоряжение?

— Пантелеев приказал! Командующий!

— Там же… Не разгружены они, баржи–то!… Люди там, в трюмах…

— А вам их сроду самим не разгрузить, — людьми!

— Так там же… спецконтингент на баржах! Этап! Заключенные!

— Были — сплыли!… Р-развернули, пас–скуды, «Второй фронт» прежде союзничков! С того Гитлер нашего брата крушит, с этого — вы, г-гады! И все по русским, по русским, — по России, мать вашу разъети! «Люди в трюмАх»….Про людей вспомнили, людоеды! Вы хоть поглядели раз, что с этими людьми сделали?!… С-суки…

— Кто это про «людоедов» и про «второй фронт» болтает?! Или крыша у тебя поехала, и осмелел, контра?! — Разгово–орчики

затеял, умник! Я те поразговариваю! Я поговорю! Доложись бы–ы–ыстра — кто агитацию распускает! Не доложишься — огонь откроем!!! — заблажила, завелась белая шуба в новеньких, сверкающих под прожекторным светом, генеральских погонах, откровенно взвинченная продолжающимся на взлобке расстрелом. И обеспамятев окончательно, взрезвилась, в войну заиграла:

— Ба–а–атально-о-оны! К бо–о–ою-ю! Прожектора–а–а! — Н–а–а реку–у–у!

…Отсюда, с палубы, из тьмы, мы, замерев, глядели на развернувшуюся сцену, чувствуя себя зрителями невиданного театра абсурда. Никто из нас в те минуты не думал о собственной судьбе. Зрелище захватило нас… Уводило от реалий ночи… Освобождало от химер убийственной повседневности.

Быть может и, скорее всего, офицер на катере пропустил бы мимо ушей генеральский бред. Но не один генерал ополоумел в эту ночь от наслаждения расправой над взбунтовавшейся сволочью, — их толпа была, ухвативших «право» «косить С автоматов» всех ослушников. Теперь, против нового ослушника–контры с катера подняли они оружие, и оно «само собой» заработало — красные пулеметные трассы потянулись над катерами, сцепясь, посходились над мостиками, зашелестели по броне…

— Во–она как вы?! — рыкнул с катера мегафон. — И «оружие — значить, к бою!»? Огонь, значить, открываете?… По нас — огонь?…Та–а–ак?!… Еще и доложиться вам?! Н-ну, с–сук–ки, сейчас доложусь — со всех стволов:

— На–а–а-а батар–р–рея–ях! Слуу–ушай команду–уу! По–о–о бер–р–регу, по ш–ш–шубам по бе–ел–лым, пр–р–рямо-о-ой наводко–о–ой! То–о–о -всь!

На палубах враз мелодически звякнул «телеграф»… Взвыли — коротко, жестко — сирены. Вроде сами собою — на берегу — сгинули, разлетевшись звонко, оба зенитных прожектора! Выстрелов не слышно было ещё, только трассы ушли туда, как играючи… И сразу в берег ударили прожектора с катеров — осветили–ослепили груды белых шуб, разом — точно, мордой в грязь — повалившихся в истоптанное месиво берега вслед за многообещавшим мегафонным ревом «То–овсь!»

Может быть, и эта позорно–комическая сценка сорвала бы настрой военных речников «выучить» «ментов» правилам «хорошего тона» в обращении с флотскими. Но ослепленные прожекторами с катеров «батальоны», что болваном–генералом приговорены были «к бою!», лишенные удовольствия видеть свое геройски распластавшееся в грязи начальство, огонь открыли…

Длился он секунду или две, пока стрелявшие не «успокоились» под снарядами тоже секунду–две «отработавших» установок с катеров… Проторкали–прогремели клепальными молотками автоматы зениток, смолкли. В тишине прохрипел мегафон. И тот же осипший голос сообщил дикторским тоном:

— Повтор–ряю: командующий Волжской военной Флотилией Пантелеев приказал посторонних людей с баржей снять и баржи увести для освобождения под горючее… Предупреждаю: поднимется кто хоть один с земли без моей команды, или, не приведи Господь, пальнет кто, — взаправду успокою всех разом и еще сполосну для десерту с огнеметов! Предупреждаю по–русски, а кому непонятно — по–татарски могу… Или матерно. Или с орудий…на международной фене…

Пришедшее, наконец, утро, весь день, вечер и начало следующей ночи пролежал берег «мордой в грязь». Все это время дождь со снегом осыпал людей. Умирали раненые в резне, под автоматами карателей, под зенитками речников. Только ночью берег окружен был высадившейся с новых катеров морской пехотой. Уложенным оперативно позволено было встать, разобраться по своим командам и частям. Заполночь начали работать комендатура и военные прокуроры Флотилии. Высокое областное и безымянлаговское начальство, лишившись за полторы суток на мокром откосе всей своей спеси, угюмо толклось у костров, которые разрешено было запалить… Судьба начальства оставалась неясной. Срыв в разгрузке барж угрожал жесточайшей карой. Но всех скопом, или выборочно? Решением трибунала, когда появлялся пусть призрачный, но шанс свалить вину на отправлявших и сопровождавших этап азербайджанских коллег? Или «наездом» — по команде Ставки, где и «мама!» не успеешь выкрикнуть?

«Проблема», как ситуацию в беседе с комиссаром «уточнил» «дипломат» Ивойлов. Но он явно что–то недооценил: в скандал с тарой неожиданно круто вмешалась Армия — давний заклятый друг НКВД. Года не прошло после Сталинграда — Армия явочным порядком, силой, присвоила себе право применять оружие без предупреждения. Право, до сих пор безраздельно принадлежавшее исключительно ведомству внутренних дел! Мало того, применять оружие, причем любое, не только против внешнего врага, но в случае нападения на Армию — против кого угодно! Произошла угрожающая перестановка сил. Верховный сразу это почувствовал. Ощутили на себе эту метаморфозу руководители ведомства внутренних дел и госбезопасности. Но предпринять что–либо уже не могли. Ничего не могли они поделать и сейчас, и не только из–за бесцеремонной армейской

акции здесь на берегу и своей беспомощности перед силой действующей армии.

Не сомневаюсь: именно на берегу, «остудившись» в мерзлой грязи после горячечного ража расстрела зэков на взлобке, разнокалиберная начальственная шушера впервые «вспомнила», что совсем рядом, чуть ниже, в танках нефтеналивных барж покоится вещественное доказательство их действительного преступления. Беспримерного по цинизму и масштабам даже для ГУЛАГа, на котором пробы ставить негде по части истребления человеков. И вот тут–то… Были ли виновны только отправляющие «Бакинский этап» и сопровождавшие его, или виноватыми оказывались хоть как то сопровождавшие и принимавшие этап? Ведь и сама идея, исполнение и результат преступления безраздельно принадлежали системе НКВД СССР и в ней — Куйбышевскому областному управлению и управлению Особстроя — БЕЗЫМЯНЛАГУ. Все того же Богом спасаемого столичного учреждения…

…В отличие от начальственной, наша судьба была предельно ясной, ясней некуда — яма. За шесть суток без еды, сна и воды мы дошли окончательно. Жили ужасом увиденного, вспышкой бешенства, остатком сил. Седьмые сутки в трюме мы не выдержали… И остались бы там, без желания и сил выбраться наверх…

Наверх нас следующей ночью вынесли матросы десантной бригады. Ни о чем они нас не спрашивали — все и так было видно и ясно. С баржи они переправили нас на один из бронекатеров. Тут же, у трапа, на его палубе умер Евген Захарок. Нас снесли вниз, у душевой распороли на нас застывшую корой «одежду», положили на трапы и обмыли горячей водой с мылом «К». Ужасный запах этого дикого препарата, знакомый мне с моего детдомовского младенчества, показался райским… Потом нас занесли в кубрик, уложили в койки–гамаки, и, не позволяя уснуть, напоили сладким чаем…

Вот это уж был действительно сон… Он продолжился утром: нас разбудили, накормили пшенной кашей, снова напоили чаем… Пожилой врач, влив в нас по большому шприцу глюкозы и кольнув витаминов, приказал, было окружившей нас подвахте разойтись, но матросы не разошлись. Смотрели на нас, как на вернувшихся с того света. В это время пришел старшина с баталёром, принес нам одежду — выстиранную и выглаженную матросскую рабочую робу; разложили её комплектами по нашим гамакам.

— Старшина! Ты бы, браток, по стаканчику нам поднес, — нам бы дух покойницкий отшибить, он в нас набрался — не

отдышаться! Сделаешь?

— Сделаю. Только мы через полчасика, в три ноль–ноль, к нашей плавбазе подойдем. И надо бы вам, ребята, прибраться, робу надеть, чтобы все чин–чином. Там Григорьев, начальник штаба, дожидается.

На плавбазе недалеко от устья реки Самарки, рядом с огромными емкостями ГСМ волжского пароходства, нас ждал не один Григорьев. С ним на гауптвахте, куда нас занесли, встретили прокурор — военюрист первого ранга Раппопорт Илья Соломонович, два следователя из речников, — оба кавторанги, и… наша! начальник медсанслужбы БЕЗЫМЯНЛАГа, спасительница моя, бывшая мамина студентка Волынская! … Вспыхнула и потухла мгновенно радость… «Все! Все!» — задергалось–забилось… Оборвалось… Пошло–поехало…

…Мертвецы приходили–уходили, — головы грибами… Мешки приносили–уносили… Трясли мешками… И сами из мешков вылезали–вытекали… Еще тонул — долго и тяжко… Выплывал… Снова тонул… А ОНО хватало и хватало, тащило в СЕБЯ… Потом пришел–ушел Степан… Волынская приходила — безголовый скелет… Не одна — с мертвым Стаковером. Стаковер заставлял Бугаенку «следовать за ним»… Васыль сопротивлялся. Стаковер сжечь его хотел, а Васыль хотел к НИМ, в трюмы… Плакал… Дрался… Тоска–а–а!… Оперов бы моих сюда, с изолятора. Вот бы, псы, порадовались… И снова Степан пришел–ушел… Не–е–е-ет! Не уше–е–ел! Остался, сел, рукою по лицу провел, будто кот лапой, умываясь. Сказал:

— Бугаенко Васыль помер вчера…Вот. А вперед него вчера же Андрюс…

— Васька?! И Андрюс — умерли?!

— Умерли… А ты живой вот — заговорил. Порядок, значит.

— Умерли? Повтори!

— А хучь бы сто раз повторил — их не воскресить… Вот ведь и ты намылился в дубаря, — не получилось, однако. Хорошо ведь, сынок? Я что пришел–то без времени… Ты хоть слышать меня можешь?… Прокурор всех вызывал — свидетелями, ботает. Они в дела хипежа на Глинке не лезут, говорят, не их проблемы — пусть НКВД само свою блевотину хлебает. Видишь, на все–е–ех баржи висят. И им требуется доказать, что баржи те специально задерживались вертухайскими начальничками, чтобы во–время их фронту не отдав, заначить насовсем, навроде для БЕЗЫМЯНСТРОЯ! Понял, куда гнут–загибают флотские?! Зачем?… Прокурор сказал, что им, а не НКВД, поручено все это расследовать. Они рассле–едуют, будь спок! Вызывают всех — и областных, и лагерных чинодралов. Ивойлова вызывали.

Комиссара тоже. И что ты думаешь, — этот засранец «второго рангу» вспомнил, что пригрозил Ивойлову расстрелом за «затопить» баржи, потому как их во–время не очистит и не подаст флоту под горючку. Речники попридержат нас тута, пока не докажут, в натуре, что виноват БЕЗЫМЯНЛАГ. С баржами, конечно. В трюма с ЭТИМ они пока следствием не суются. Да и зачем соваться–то, когда флотские все баржи оттащили ниже, к Жигулям… И вот как я тебе говорил тогда, — мониторами… Но прежде как трюма вымывать, они все как есть во всех баржах на кино заснимают, а на нашей, — на первой, — и нас. Кто на ногах еще был… И протоколы составляют …Потом тута, на плавбазе, в кабинете у Григорьева одно с этих кинов крутнули… Ты бы поглядел на них, на героев с флотилии, когда в кине трюма показали… Ну, здесь мы с Франтой*) и Йориком*) протоколы подписали. Не все же нам покойников наших выносить, — надо чтобы всЕ ЭТО теперь выносили… Может, совесть и прорастет у них откуда муде произрастает… Встанешь — тоже подпишешь… Еще вот: об этом кине и протоколах никто, кроме нас, пока знать не должен, — я «неразглашение следствия» подписал. Не должен знать и боров-Ивойлов с комиссаром.

Конечно, им еврей–каперанг, ну, прокурор наш, сообщил, что мы здесь все — «взятые по месту работы» в трюмах! Это тебе ясно? И Ивойлов рвется — требует очной ставки, что, мол, при нас говорил товарищу комиссару, как нехорошо у отправлявших получилось, что теперь никак емкости от этапа не освободить! Этот Раппопорт изматерился об комиссара. И мудак этот «второго рангу», обосравшись, требует нас допросить: не забыл, мент, что разговор Ивойлова был, чтобы «баржи притопить»… И если выйдет наше подтверждение, он тогда борова притопит как пить дать! Не хуже, как они людей на Востоке в баржах топили бессчетно…

— Пусть топят друг друга. Без нас.

— Это Пошто: «без нас»? Или за эти дни, когда Бугаенко с Куприсом, а сперва Захарок Женя дохнули, Ивойлов с комиссаром людьми сделалися? Или не они Львовича и Стаковера казнили?!

— Плющихина?! И Абрашку?!

— Их…Когда карателей пригнали… Мне Раппопорт бумагу предъявил, когда сообщал, что «свержения или подрыва» по «пятьдесят восьмой, пункт один» и «вооруженного восстания», там, по «пятьдесят восьмой, пункт два» нам не предъявит. А из нашей бригады, сказал, Стаковеру и Плющихину — покойникам — теперь и сам Господь Бог эти статьи не пришьёт, не током что оперы безымянлаговские, за которыми они оставлены числиться… Конечно, Бог Троицу любит. Но, думаю, этот

Раппопорт–прокурор нас от той статьи с пунктами уберёг, — спасибо ему. И мне, по третьему разу, а тебе по четвёртому их уже не ломанётся…

Еще через пару суток, после очных ставок с боровом и комиссаром, нас всех переправили в плавбазовскую тюрьму Приволжского Военного округа! БЕЗЫМЯНЛАГУ не отдали! Возможно, — это только мое предположение, — на такое неординарное решение повлияло впечатление юристов Волжской Военной Флотилии от знакомства с нашим бывшим теперь начальством — Ивойловым и комиссаром Петровым. Плакало оно навзрыд, когда одному доказали, не без нашей помощи, что именно «он требовал притопить бесценную для фронта и даже для товарища Сталина! тару под горючее». А другому всё ж таки предъявили кинодокумент и протоколы, уже освященные предварительно Главной Военной прокуратурой СССР. Напрямую «обвиняющие руководство Безымянлага в преступном отношении к стратегическому воинскому имуществу»! (Не к замученным в баржах солдатам и пленным, — нет, — а к загаженным емкостям)

Следствие окончилось. С комиссара и борова, вроде, содрали погоны. Раппопорта флотское ведомство, — точно, — представило к контр–адмиральскому званию (Узнал о том году в 1956–м. О чём узнал тогда же, в 1944–м, — нас отвели в тень событий на красноглинском взлобке и спрятали от НКВД.

Андрюса Куприса, Васыля Бугаенка, Ваню Московкина и Евгена Захарка похоронили на кладбище Флотилии в Кряже, а не в крысиных штабелях с трехмесячными каникулами до весны, когда оттает земля. А трупы замученных в Бакинском этапе — перетерая в пульпу — начали выкидывать в Великую Русскую Реку. Увеличив ими без того безразмерный Список без вести пропавших.

По сей день множества из них еще ждут дети их и внуки… А кто–то помнит ёмкости, загаженные «дерьмом». Только никто и никогда уже не ужаснется, не возмутится содеянным…

…Камеры гарнизонной тюрьмы забиты были плотно. Нас завели в «больничную». В ней припухал–блаженствовал только один сиделец — скелетоподобный невысокий человек неопределенного возраста с ввалившимися, старчески линялыми глазами и снежно белой щетиной на голове и на лице… Тот самый, — по рассказу офицера на палубе, — который один и выжил на первой барже… Значит, все же, нас, свидетелей, придерживают, вместе сбивают — расползтись не дают…Примета «добрая»!

Когда мы разместились на нарах, человек первым делом попросил поесть. Мы выгребли ему все наши запасы еды. Он съел

немного. Аккуратно подобрал и кинул крошки в рот. Сложил остатки в чистенькую тряпицу. Уложил в сумочку из–под противогаза. Наклоняясь, напился из унитаза. Залез к себе на матрац. Прислонился спиною к стене и замер, неотрывно глядя на дверь.

— Вам еды мало, — спросил Йорик, — вы голодны?

— Хватает, спасибо… Не голодный я — боюсь чего–то… Слабый…

— Чего не ложишься? — Степан спросил, укладываясь.

— Нельзя: вдруг хлеборезка подожгётся? Спасать тогда… Все спать будут, а я укараулю, — утречком–то все к хлебушку потянетеся!

— Звать тебя как?

— Генералов.

— А имя?

— Митя.

— А отчество?

— Вот… Никак не упомню… Вертится вот здеся гдей–то, а никак не ухватается…

— Правда, Митя, что людей в трюмах с самого начала заперли — проволокой закрутили?… И ни разу не открывали люков?

— Правда.

— А как же ты?

— Я?… Я — никак. Я в каюте на палубе. Только под утро в гальюне запирали… А ночью спать не давали — сильничали, как бабу…

— Ты у них переводчиком? Они, что, — по–русски не кумекали?

— Не. Не могли по–русскому. Элиф не хотели. У их, сперва, на нашей барже конвойным старшиной русский был. Он с зибаржанцами по–ихнему болботал. Пропал потом. В Астрахане. Тёзка мне — Митя. Хороший был… Пропал.

— Может, убили?

— Не знаю. Могли убить, — он с имями цапалси сильно.

— А почему цапался?

— Оне хлебушко и селёдку — пайковые — торговать надумали. Помрут, значить, которые в трюмах. И весь хлебушко ихний. И сельдь. А старшой ругательствовал сильно, потому как нисколько — ни хлебушка, ни рыбки не имелося. Не оказалося никаких питателнах пунктав нигде. Он и ругательствовал. Обман, говорил. Грозился… Пропал.

— Какой же обман? Ведь они должны были быть — пункты эти?

— Должны. А не было их. Не понимаешь?

— Не понимаю.

— Вот и я тоже. Только, коне–ешна, кто–то в Азибаржане ли, или в России нажилися на нашем хлебушке и на рыбке за столькое время.

— А чего столько тянулись — восемь месяцев?!

— Буксирав нет. Из–за них и стояли по месяцам. Нет буксирав.

— Не боялся, что они тебя, свидетеля, к твоим рыбкам отправят?

— Не. Апосля того, что в трюмах, не. Боялси, что запрут, когда сбегать будуть. И стану я погибать в гальюне жалезном под солнушком. Как те…

— И убежать не мог?

— Ку–уды! Я и плыть–то не обучен!

— Митя! Неужели за весь путь — с марта — никто–никто на баржи не поднимался — не интересовался никто? Начальство какое–нибудь?

— Пошто? Приходили. В Дербенте. И в Астрахане. Конвой водку ставил, закуску. Сидели. Ели. Пили… — Я имям потолмачу — всё больше: «друг!», да «ещё по одной!». Вся проверка. Всё… А вот как у Черного Яру немец двое баржей утопил с «Мессеров», никто боле до Сызране не являлся.

— Ну, а с буксиров?

— Не приходили. Конец с тросом закинут на баржу. Конвой конец примет. За кнехт трос зацепит. Все. Молчком — на барже–то «запретзона!» И «огонь — без предупреждения!» Раз тольки, под Черным Яром, когда две баржи утопли, матросик один с бронекатера интересовался: что за баржи и почему от нас дух такой чижолый? Я и успей сказать ему про трюма. Так он: — Дед! ты мне ничего не говорил, я не слыхал, — незнакомые мы!

— А как же люди в трюмах?

— Никак. Померли. Постукалися сперва. Покричали, конечно. Померли. Ни еды им, ни питья, ни подышать. Конвой говорили: люди — мусор! Ни продать их в России, ни пользовать как баб нельзя — больные все и слабые. Хоть и молодые. Как я. Я ведь тоже молодой: — мне годов двадцать три всего. А говорят «дед». Сносился…

Двух живых «пассажиров» с третьей баржи держали в теплом карцере. Много позднее говорилось: чтобы не имели контактов с Генераловым, — не сговорились чтобы — «преступники из преступников»! О чем только? Но дока по части разведки Франта–красавец, уломав медсестру, ночным часом добрался–таки до отшельников. И пока коридорный вертухай любезничал с

медициной, успел с ними переговорить. Узнал, что один из них — из Баку. Гуревич Илья. Преподаватель техникума. Другой — из Дербентской партии — комбат–танкист из окруженцев Иван Парнышков (Погодя его мобилизовали матросом на флотилию). Все конвоиры на их барже были русскими. В пути, оказывается, эта кодла оформляла… «Боевые листки»! Еще в Дербенте крикнули в люк: — Кто грамотный и умеет красками?… В трюме оставались еще живые зэки, — висели на скобах да друг на друге под люком, ловили воздух у жалюзей — дышать….Эти двое вызвались. Успели. Их — наверх. Остальных посбивали прикладами со скоб… И люк по–новой замотали. Эти двое отлежались на воздухе, откормились хлебом и остатками ухи от стола «благодетелей». Ожили. Их тоже, как Митю, запирали в гальюне. Дали доски на дыру. Сунули бланки «листков», карандаши. Так, на «партработе», выжили они все месяцы пути. Тоже рассказали, как под Чёрным Яром «Мессера» затопили две их баржи. И чуть было не накрыли ещё три. Из них одна с пленными немцами. Их, говорили, было тысяч пять. Немцев, прежде чем в баржи покидать, раздели догола. Боялись побега, если фашист, по–новой, попрёт к Волге. Как раз, как двум баржам потонуть, перед ними разбомбили фашисты — или она сама на мину наскочила — нефтеналивную посудину «Тарлык», или вроде того, — Франта слово это, название баржи, передать не смог… И река горела по–страшному! Некоторые из ихних барж жарились на том огне суток двое или трое. А их посудина отстоялась таки по–над берегом. Но, всё одно, краска на бортах и на надстройках сгорела. А сами они, с конвоем заодно, макались в Волге, в водичке, которая погорячее, чем в бане, была! Да макались–то — смехота — на верёвках, привязанные!… Вообще, рассказывают, с конца весны, кто только там на минах ли, или бомбами с «мессеров» не подрывался. Хотя, в основном, отстаивались. То, вроде, протраливания ожидали. То буксиров, которых давно не было. И потому ждали их как манны небесной. Тут, как раз, — они рассказали, — в самую юбилейную ночь на 22 июня, — попали они под настоящую, всамделишную бомбёжку. Немцев налетело видимо–невидимо! И ну Саратов долбать! Сперва нефтесклады и авиазавод. Их конвой, и вертухаи с барж, что стояли рядом, тут же рванули на берег, в город — на поромысел, — грабить… А немцы тем временем, накрыв заводы, запалили сам город. Горело, будто когда леса полыхают верховым огнём! Пламя — до неба! Взрывы — сплошным грохотом! Зенитки по–бешенному лупят с обоих берегов! На голову осколки снарядные горохом сыплются! А они — рассказывают — как собаки, на цепи, «браслетами» к поручням прикованные, рвутся, как белухи орут,

руками да досками с гальюна головы прикрывают… Было бы то не с ними, говорят, один бы смех был…

И вот, рассказывают, город горит! Бомбы рвутся сплошным грохотом. «Мессера» пикируют с воем и рёвом — видно их как в кино, пожаром освещенных! Батареи грохочут впустую — хоть бы одного фашиста сбили. А мы рвёмся на «браслетах», орём, бесимся, и… болеем — говорят — за наших, требуем, чтобы они немца сбили, фашиста!… И невдомёк нам, говорят, что «наши» — это те, что в трюмах догнивают. И еще, может, которые сейчас в «Мессерах» сидят и бомбы в саратовские заводы нацеливают!… А все остальные — кругом на сотни вёрст — самые лютые нам враги, подонки, которым никакого дела до нас, — что в трюмах, конечно, — нет!… Это ведь, подумать только, какими нелюдями могут оказаться советские, распромать их, «люди»!

Меж тем, баржи — а их стояло вокруг, с месяц как подошедших, числом семь — как прожекторами были пожарами освещенные! Немцу бы их сжечь. Он же за плавсредствами на Волге год как гоняется! Так нет! Вроде, понимает, ЧТО в них. Просвистит над нами… Всё. Чудно! К утру пожаров в городе не убавилося. Немцы ушли. А ихние вертухаи вернулись с узлами и тремя девками. Девок до ночи драли беспощадно. В узлах что было — поделили. Тут, рассказали, бабы эти, протрезвев, — их перед каждым сеансом вином подкачивали, — схватилися: почему–й–то воняет от вас, зверей азербайджанских, так мрачно? Ну, комсомольцы наши пообиделися, рассказывают. И, как засумерничало, поскидывали ****ей в Волгу, как Стенька Разин царевну. И только бабы в воде оторались, немцы тут как тут! Снова стали долбить авиазавод. И, видно, додолбили его окончательно: пламя над ним страшенное, взрывы фейерверками, грохотание… Страшно! А вертухаи ихние, рассказали, снова в город намылилися. Только вернулись не все: немцы их проредили… Такой ночи, какая была с 22–го на 23–е июня в Саратове, мы нигде более не видали, — говорили. Она нам, ночка та, запомнится…

…Франтишек Каунитц, чешский разведчик, передавая нам сумбурный рассказ Гуревича и Парнышкова, был не в себе. Он не понимал, как можно весело трепаться о событиях в Саратове — пусть горевшем огнём из–за бомбёжек, и не обмолвиться словом о ТОМ, что, сперва, билось и кричало под железной палубой их баржи, что исходило стоном и умирало страшной медленной мучительной смертью?…

…Можно, оказалось! Можно!…

— Они же чёкнутые! Не понимаешь, что ли? — Сказал Степан. — Митя — по–своему. Эти тоже. Можно ли после всего в

своём уме быть? Я решил тоже, что нельзя. Мне бы тогда Машиной Времени перенестись на тринадцать лет вперёд. На «разбирательство» «по факту» «Бакинского этапа» в ЦК не моей партии. Тогда, осенью 1956 года, вызван был свидетелем бывший в 1943 командующим Волжской Военной Флотилией, — и вот уже почти третий год как адмирал, — Юрий Александрович Пантелеев. Он сказал, улыбаясь широко и дружески: — Ну не было же другой возможности, кроме как мониторами! Ты же сам видел, что ТАМ было! Сам в этом дерьме купался… А ты говоришь… Война, она, брат, не такое ещё выкаблучивала! А ведь в 56–м Пантелеев чёкнутым не был. Он только–только откомандовал Тихоокеанским Флотом!… …А Франта всё рассказывал. В Саратове стояли не один месяц, — говорили. Буксиров не давали. Возможно, потому, что караван больно вонял. И речное начальство всё понимало. А конвой всё митинговал, гадал всё: будет в следующем отстое питательный пункт? Может всё–таки будет, и тогда отвалится ему хлеба тысячами тонн! И рыбы! Измышлял всё, — говорили, — что с эдакой горою хлебушка сделать?! Народ южный, коммерческий. И никак он в толк не возьмёт, что на этот хлеб и рыбку хозяева давно нашлись. Верно, прежде, чем конвой своих зэков в баржи по скидывал. Иначе, как всю эту аферу понимать? А задумана она, говорили, гениально! Товарищи и от зэков Кавказ освободили, и, точно, гору хлеба списали на покойников. А он сейчас — по двести двадцать ре буханочка! Вот так вот. Ещё, сказали, не нагрянь с проверкой у Сталинграда катерщики с Волжской Флотилии, — и им бы, двоим, да тому Генералову с первой, не жить, — свидетели же! Ясно видать: в деле этом замешана власть. Конвой только приказы выполнял. Потому на всех баржах, прежде чем сбежать, солдаты шестерок стреляли. И вот этих бы троих тоже бы прикончили, но им подфартило: ночью подошел с двумя бронекатерами флагман Флотилии «Волга». Высадили десантников, и те с баржей уже не отходили никуда до Жигулей, — до самой Глинки. Замполит ихний заставил конвой колючку раскрутить на заложках. И что? Ничего! Поглядели в люка. Поматерились. Поблевали, натурально. Конечно, повязали конвой тою же проволокой. Отволокли на катер. Кинули куда–то в трюм. По–новой матерились, когда, обратно, люка задраивали: видишь, тару им засрали! Потом позавернулись в воротники, ушами от треухов рты и носы позаслоняли. Все. А про тех, что в трюмах сгнили — ни полслова!… Надо ж так!

Между прочим, среди офицеров с «Волги» был на баржах сам Пантелеев. Командующий. И этот — ни слова… Народ–то, вправду, расчеловечился!

Во вторую годовщину моего нерасстрела[1] — 7–го декабря — тут же, в тюрьме, меня вызвали… на свиданку! К кому бы это? В помещении медпункта меня ожидал молодой человек в форме армейского медика. Убедившись, что я — это я, он поставил на стол большую хозяйственную сумку с пакетами, протянул мне руку, представился:

— Вы меня не знаете, — я коллега Иды Исааковны Волынской — ученицы вашей матери. И я ведь тоже успел учиться по ее учебникам, правда, из библиотеки Волынской. Она всё мне о вас рассказала. И просила вам передать, что прокуратура, — вы знаете, о ком речь, — установила, что в известный вам день вы все были обнаружены десантной группой Волжской Военной Флотилии на своем постоянном рабочем месте — в трюме нефтеналивной баржи, куда вас направили распоряжением начальника 4–го района Особстроя Ивойлова. Ивойлов подтвердил и само распоряжение и место вашего пребывания в дни, предшествовавшие задержанию вас этой группой Флотилии…. Вроде, я ничего не напутал… И еще: сам Ивойлов и комиссар второго ранга Петров, — все они лично заинтересованы именно в таком решении прокуратуры не их ведомства. Оно позволяет им опираться на свидетельские показания лиц, которым никаких обвинений в это же время не предъявлялось… Вы всё поняли?

— Да. Спасибо!

— Пожалуйста!… Что–то ещё… Да! Вы о фильме знаете? На баржах?

— Да.

— Он передан в фильмофонд Флотилии. А его копия… будет передана известному вам Роману Лазаревичу… Вам ясно?

— Да.

— Ида Исааковна просила передать, что вы должны спокойно ожидать добрых перемен. О вас позаботился некто, назвавшийся «полярным лётчиком»[2]. Так в телефонном разговоре он представился ей. Он сказал ещё, что вскоре вам предстоит, «как в карточном гадании», дальняя дорога. Там, где вам придётся жить, у вас будут друзья. Больше он ей ничего не сказал. А вот она просила еще сказать вам, чтобы вы, если у вас случится такая счастливая возможность, передали бы вашей маме её самые добрые пожелания и её любовь… Можете то же самое передать и от меня, хотя она знать меня не может… Ещё вам — вот, маленькая посылочка, в дорогу… Надо же! Совсем забыл: там, куда вы попадёте, вас разыщут — зто тоже «тот» сказал! Через них, сказал он, вы сможете осторожно связываться с родными. И удачи вам и друзьям вашим! Прощайте!

— Прощайте!

— Прощайте! — Он подал мне руку и вдруг на мгновение обнял…

— Прощайте! И будьте осторожны с Раппопортом… Прокурор всё же…

— Буду, буду! Обязательно буду. Спасибо!

Уже в дверях он обернулся: — Я так понимаю, что отвезут вас далеко. И место это, полагаю, будет не самым приветливым, хотя… моего деда они расстреляли в лучезарном Крыму, в Ялте. Что же, — будем надеяться.. И вам удастся пережить неблагоприятные события… Если удастся, конечно… Кто вообще в наше время знает, где и что все мы переживём? Я, например, возвращаюсь завтра на фронт после четвёртой раны… Прощайте! Удачи вам и долгой жизни — «до ста двадцати»!

— И вам — до ста двадцати, добрый вы человек!…

Признаться, мне было о чём думать и что рассказать друзьям…

Вечером на пятый день после свидания с военврачём меня вновь дёрнули «на выход!» В камере следователя тюрьмы я увидел… Раппопорта. Он поздоровался, предупредив:

— У меня всего полторы–две минуты…

— Зачем же тогда…

— Затем! И без эмоций… Вскорости вас всех отправят… Далеко, — дальше некуда! Не в смысле, конечно, «высшей меры», — усмехнулся, — а… географии. Оставаться вам нельзя — здесь вас попросту уничтожат! Расследуются известные вам события у Волги. И в процессе дознаний ваши же товарищи — бригадники, соседи по нарам, зэки из одной с вами зоны, — все, знающие вас, — могут показать, что и вы, мягко говоря, участвовали в «беспорядках». В результате погибли люди. Много, между прочим, людей. Очень много! Правда, несопоставимо меньше, чем в трюмах барж. Но кто теперь об этой статистике помнит? Никто! Как никто не примет во внимание состояния обвиняемых, вызванного лицезрением содержимого посудин, — вы же, чёрт бы вас всех побрал, — наворотили…

Свидетелями непременно будут и те, с кем вашим посчастливилось поддерживать огневой контактс оружием в руках! И не сомневайтесь: показания их будут подтверждены экспертизой. У них в НКВД, кроме штатных мудаков, есть великолепные криминалисты. И ваши пальчики на оружии — если следы их остались — они идентифицируют в лучшем виде! Тем более, — перчатки вы забыли надеть, и вряд ли догадались отмыть руки от въевшейся в них известной вам массы. Кроме того, и ваш бывший начальник района — «боров», и его оппонент

из области, — оба они теперь заинтересованы уже в вашем исчезновении: вы не оправдали их надежд! Вы, получается, по их же собственному недомыслию и неосторожности, не просто подтвердили, но раскрыли их вину в невыполнении адресованного им распоряжения Верховного. Да, кары Хозяина они страшатся. Потому совершают массу ошибок. Но их страхи простираются, представьте, далеко за пределы факта проваленного ими приказа Ставки. Более всего угнетает их возможность причастности к этому злосчастному этапу из Баку. И боятся они не обвинений в умерщвлении людей, до которых им нет дела, а объёмов предполагаемого хищения хлеба. Липилова больше нет. Давно нет — умер. Эти двое будут валить вину на него. А так как те, кто в этом деле выше Липилова, нам, прокуратуре, недоступны и затронуты следствием быть не могут, ваши комиссар и генерал окажутся главными ответчиками. И попытаются, как это не раз бывало, разыграть еврейскую карту…

— Как «еврейскую»? Почему?

— Да потому, что она козырная!

— Но из–за чего именно «еврейскую»? Откуда она в ваших делах?

— Оттуда же, откуда во всех остальных аналогичных, где возможен навар… Мы не даём себе труда не лезть в говно, остановиться…

— Гражданин прокурор! для чего вы всё это мне рассказываете? Я кругом покойник! Липовые алиби если полетят, эти двое если доберутся, если просто побег пришьют — десантники меня, нас, вне оцепления взяли…

— Побег, говорите?… Интересно… А для того рассказываю, чтобы знали всё, что зам знать надлежит. И сами могли оценивать обстановку… И, кстати, всерьёз взвесить и решение по спасению вас из ситуации, в которую не мы вас загнали. Рекомендации у вас безупречны. Потому и разговариваю с вами. Да ещё и Волынская настаивает энергично… Положение моё многосложно. Отказать этим людям не могу. Но и рисковать семьёй, сами понимаете, не стану…

Он устало, взмокнув весь в собственном поту, долго обтирал лицо платком. Сложил его аккуратно. И тут же, скомкав в кулаке, сказал:

— Вы и ваши товарищи будете отправлены на Север. В наше флотское «исправительно–трудовое» подразделение. Не обессудьте — место это дальнее. Дальше не бывает. Мы же — не ГУЛАГ с его размахом и ассортиментом. Но оно обеспечит вам всем хотя бы жизнь. А это не мало. Тем более, что здесь вас ожидает только расстрел. Это вам, кажется, понятно. Объекту, где

вам предстоит провести время, требуются, — представьте себе, — кессонщики и маркшейдер. Ведомство получало запрос за запросом. Но у нас не было свободных специалистов и возможности перебросить туда людей. Теперь то и другое налицо. Удача. Вот мы её и используем…

— Куда, позволю спросить, вы нас дёргаете?

— Говорю же — в далёкое, суровое место. Однако, престижное для энтузиастов. По Волынской, оно было предметом и ваших юношеских вожделений. Контингент там ваш. Вы молоды, кессонщик, значит, человек изначально здоровый. Да ещё и маркшейдер! Вживётесь — переживёте сотни тысяч ваших сверстников, которые, как и мои сыновья, пашут на войне… Полагаю, вам достанет ума и выдержки перенести Арктику. Главное, вы обязаны начисто забыть события, предшествовавшие нашему с вами знакомству. Вы, и ваши товарищи. И, не приведи Господь, проговориться о них кому–нибудь там. Помните: я отправляю вас на этап и, где–то по дороге, объявляю в… побеге. Искать будут везде, но, надеюсь, не ВАС, и НЕ ТАМ! Направляю всех на объект Военно—Морского флота. Что там делается, да и само это место, они не знают… Еще. Там, куда вас доставят, у вас будут друзья. Но только у вас лично, Додин. Не у ваших товарищей. Эти люди вас найдут. Но и с ними осторожность не помешает… Вот всё, что я, еврей, могу сделать для вас, еврея, и для ваших не еврейских товарищей. Прочим, имеющим хоть какое–нибудь отношение к этапу из Баку евреям, придётся ответить…

— «Евреям»! Снова «евреи». Почему?

— Этого я вам сейчас не скажу… Когда–нибудь, в будущем, если доведётся встретиться…

Не довелось: хроник–туберкулезник, он умер весною 1945 года…

— В будущем, так в будущем, — согласился я.

— Объясните, гражданин прокурор, — если такая, вдруг, откровенность, — что значит ваш намек относительно «не вас»? Кого же тогда? И уточните, пожалуйста, что за друзья такие будут там у меня, персонально? Друзья, — они разные бывают…

— Не от кума, нет! — Засмеялся. — Опасаться их вам не придётся. Они там теперь тоже не по своей воле, хотя вольные, и даже из вашего ведомства офицеры. Метеорологи они, зимовщики, «Пересиживают» четвёртый год… Война…

Насчёт того, что отныне будут искать… «не тех» вас, уточняю. Вы все отправитесь на этап, как положено, «при бумагах». «Дела» останутся у нас. С вами пойдут «формуляры» сопровождения. Так вот, в них вы будете числиться по слегка изменённым фамилиям:

вы — За'додиным, Каунитц — По'каунитцем, Синёв — Бу'синёвым, Эриксон Йорик — М'эрикссоном, — так сошлось. В Бутырках, где формуляры заполняли, писаря, — от непосильного труда и сильного устатка, — занесли ваши фамилии с прописной буквы. Приписывай теперь спереди всё, что заблагорассудится! Мы и приписали… Неблагозвучно? Зато утомлённый глаз картотетчика истинной фамилии не прочтёт — проскочит… Помните: эти метаморфозы с фамилиями знаете только вы и я. Ещё раз: изменив ваши фамилии и этапируя вас, а затем объявляя в побеге, я прячу вас от трибунала: искать вас будут сыскари по истинным вашим фамилиям. Удачи им!…

Он попрощался. Вышел. Обернулся. Кивнул…

Оставил меня, признаться, пораженным. То, что услыхал я от военврача, взволновало: не каждый день в тюремных буднях происходит такое — встреча с человеком, принесшим тебе добрую весть. Но то, что услышал от Раппопорта — прокурора! — потрясло… Подумать: чиновник такого ранга, а в сталинские времена — палач по должности, оказывался спасителем! Немыслимо! Невероятно! Непостижимо!… И ещё: почему вдруг заговорил он о евреях, которым придётся отвечать за «Бакинский этап»? Ими там вроде и не пахло? И что значит: «Если доведётся встретиться…»? Он верит, что мы выживем?!

Разгадка загаданной мне Ильёй Соломоновичем Раппопортом загадки явилась в 1956–м. При расследовании по этапу в Административном отделе ЦК, я встретился с его другом и помощником по прокуратуре Флотилии Моисеем Сауловичем Минкиным. На мой вопрос о «еврейских приоритетах» Раппопорта, Минкин рассказал мне об атаке, которой подвергся Илья Соломонович, и о её последствиях для атаковавших.

Мы еще припухали в следственной, а к Раппопорту явился вдруг некий Флейшер Натан Шлёмович. Оказалось, генерал. «Начальник управления горных лагерей УСВИТЛа». В военное время, когда каждый килограмм выколачиваемых из несчастных зэков золота и олова спасал, — как тогда считалось, — сотни солдатских жизней на фронте, этот деятель оставляет свой «боевой пост» на Колыме. Оказией, сломя голову, летит аж в Куйбышев, благо наши лётчики перегоняют самолёты с Аляски и по этому маршруту. И сходу, не поздоровавшись, «интересуется» у Ильи Соломоновича: «Известно ли ему, что его брат Макс Шлёмович, начальник продснаба БЕЗЫМЯНСТРОЯ, состоит в доверительных и, более того, в семейных отношениях с товарищем Багировым, другом Булганина?» И что «не его, брата, забота отвечать за организацию питания каких–то там врагов народа, этапированных не его БЕЗЫМЯНСТРОЕВСКОЙ, а чужими

— Азербайджанской и Дагестанской — системами!

Ситуация… Мы никому, кроме Главного Военного прокурора, ни слова не сообщили. Ни единым словом своим подчинённым не обмолвились. Даже ещё не думали, кто из них делом этим займётся! А товарищ Флейшер у себя в Магадане уже всё знает! И прилетел за тридевять земель нас шантажировать. Каково? А ведь понимал, подонок, что одна наша телеграмма–запрос в Госкомитет обороны, и ему — крышка! Понимал. Однако, пугал. Значит? Значит, рыло у его родича и, возможно, у него самого, в пуху по уши! Но уверен: ему, — им, — всё это сойдет в лучшем виде…

Далее, тотчас объявляется некий же Файнблат. И сходу: «Он, — оказывается, — знать ничего не знает об этапе, и теперь только доложили ему…». Товарищ этот, — до конца февраля 1943 года одна из главных фигур политотдела НКВД Азербайджана, — руководивший… распределением конфискованного имущества, откомандировывается, вдруг, 1–го марта сперва в Астраханское, потом в Сталинградское, затем в Саратовское и, наконец, в Куйбышевское Управления НКВД. Неизвестно, чем ещё он там в командировках занимался, но передвигался параллельно маршруту этапа. И, почему–то, — что самое интересное, — тем же черепашьим темпом!

Вот и разгадка «загадки»!

Меж тем, шантаж продолжается: он, оказывается, «не только политработник высшего эшелона», но прибылой зять то ли самого Мир Джафар Багирова, то ли кого–то из бесчисленной багировской родни… Пока же выясняется: Натан–то Шлёмович Флейшер — он Файнблату тесть!… Какая–то разбойно–клановая полигамия.

С месяц на нас шла звериной злобы атака! Причём,… наших! И каждый кидался дружбой и родством с мерзавцами. Каждый угрожал расправой и карой. А Михаил Михайлович Файнблат, — тот размахивал перед лицом Раппопорта пистолетом и вопил, что «лично сам доложит товарищу Сталину и сам шлёпнет зазнавшегося… жида /!/".

Илья Соломонович, глубоко переживший волжскую трагедию, смолчал. Но, обойдя нежелание властей заниматься «этапом из Баку», решил наказать всех виновников беспримерного преступления — прямых и к о с в е н н ы х. Человек высочайшей порядочности, веривший, что самый скверный закон справедливей самого замечательного беззакония, он арестовывает и привлекает к уголовной ответственности и всех без исключения доброхотов–ходатаев, «имевших наглость не заметить массового убийства людей в трюмах барж». И на Особом Присутствии

Трибунала Волжской Военной флотилии добивается их расстрела!

«Людей бессовестных, — повторял он древних, — должны судить люди бездушные!

Он–то, тридцать лет разматывавший «хозяйственные» преступления, — отлавливая и наказывая мошенников, беззастенчиво обиравших народ, — он–то знал свою «клиентуру». И верхом цинизма, подлостью, оценивал «глубокомысленные» изыски наших «мудрецов», что, дескать, «для возбуждения юдофобства нет нужды в конкретных реальных поводах», что, мол, «вина наша обусловлена самим фактом нашего существования», потому «незачем нам оправдываться перед юдофобами». Словом, «грабь, хаверим, не оглядываясь на них — всё одно мы у них виноватые!» Логика состоявшихся воров…

То же «Хлебное дело». Лишь только в изощрённом уме могло оно возникнуть! Сделать дело на банальном этапе начисто обобранных государством зэков. И походя, ради наживы или её призрака, погубить тысячи жизней… Ведь это чудо, что они не догадались ещё и трупы утилизировать. Не из страха перед Верховным — в пульпу. А… на мыло, например — продукт дефицитный по военному времени… Что–то беспокоило Раппопорта в связи с таким оборотом дела…

…Между тем, монолог прокурора из головы не выходил. И даже после того, как его содержание передал я тоже ошеломлённым ребятам, всерьёз его не принимал. Ну, не мог, не должен был прокурор говорить такое. Но тогда… с какою же целью он это затеял? Ведь сам же пришел. Сам произнёс дикий спич… Конечно, что–то всё же за этой комедией есть… Вопросы, вопросы… И все — без ответа…

Даже через 13 лет, уже в Москве, когда я вплотную занимался событиями у Волги, ни одного ответа на свои вопросы не получил, хотя успел встретиться с Александром Евгеньевичем Голованом — моим «полярным лётчиком», и что–то понял. Но не узнал.

Ответ нежданно «нашелся» в США. Когда мы с супругой моей гостили там в 1977 году, встретился я с некой Галиной Исааковной Белой—Мак'Кинли. Дальняя родственница Максима Максимовича Литвинова, она работала в МИД, затем в ООН. В Нью—Йорке второй раз вышла замуж и жила с супругом в Майами. Адрес её, «на всякий случай», подсунул мне всё тот же милый Минкин Моисей Саулович. Так вот, Галя Мак'Кинли, на минуточку, родная сестра Иды Волынской, оказалась «в курсе». Рассказала: наша с Раппопортом встреча в тюрьме, — вообще, всё, что было связано со мной и с моими товарищами, — инициатива Иды Исааковны. Но… под негласным патронажем вашего

«полярного лётчика». Её терзало решение Голованова отправить вас на «Бунге» (КотельныЙ. Она понимала, что оно вызвано его несколько идиллическими воспоминаниями: «прилетели, выпили, закусили, улетели!», его ностальгическими озарениями, что вам выйдут боком. Потому была против.

Илья Соломонович идеалистом не был. Он понимал, что ваш «лётчик», несомненно, пекущийся о вашей судьбе и обладающий для её решения всеми возможностями, тем не менее, посылает всех вас «на почти что гибель!». Но тот ответил ему, что «гибель, безо всяких «почти что» ожидает оглоедов в Куйбышеве!», задержи нас Раппопорт ещё чуть–чуть у себя. И Илья сдался… Он очень переживал, очень: Ида рассказала ему о вашей маме, о вас: она же свидетельницей была вашей жизни в лагере… И в его глазах вы превратились в фигуру харизматическую: он разглядел в вас сопротивляющегося еврея! Не липового «сиониста», какими забита Америка, не кликушу — «отказника», вымогающего израильский спецпенсион, а действительно сопротивляющегося преступной власти еврея–гражданина. Его удивившая всех кто его знал жестокость в отношении участников «Хлебного дела», даже второстепенных, — реакция на его оценку вас — антипода подонков! Он рассказал, что намекнул вам об уготованной им судьбе. И вы, будто, санкционировали его решение… Так?

Может быть, и так. У великих и у подонков нет нации.

…Шесть суток мёрзли мы в нетопленом бараке «флотской» пересылки в Липягах—Мордовских, у Волги к югу от Куйбышева. Загорали на… двухкилограммовых пайках и весьма бацилльной баланде из флотской больнички. Выожной ночью под новый, 1944–й год, разместили нас в купе пустого, новенького совершенно, вагонзака. И с невиданным комфортом, каким–то сложным маршрутом, — минуя обязательные знакомые нам и не знакомые пересылки центральной и Северной России, — примчали до Архангельска. По пути наращивая мясо на наши кости невиданно сытным харчем.

На сортировочной у Северной Двины, прямо из вагона, — и здесь обойдя ещё одну, последнюю, пересылку, — нас увезли на аэродром Полярной авиации. Сутки держали в жарком, как в парной, ангаре. Приодели в тёплое бельё и носки, во фланелевые рубахи, в суконные брюки и в давно забытые пышные шерстяные свитера. Наконец, выдали меховые порты, бараньи полушубки и унты из собачьих шкур. Напялили меховые ушанки и рукавицы. Навалили в солдатские мешки «сухой паёк» — продуктов на десять–пятнадцать дней. И сразу подвели к стоявшему на взлётной полосе и прогревавшему свои четыре движка грузовому борту. Перед трапом прочли, посмеиваясь, конвойный акафист

про «шаг влево, шаг вправо». Сказали подниматься. По вихлючей лесенке мы взобрались в люк и гуськом вползли в показавшееся циклопически огромным самолётное чрево. Носовая часть заполнена была аккуратно сложенными в штабельки ящичками с какими–то приборами. Вплотную к ним, на сложенных стопками полосатых матрацах, уютно устроился экипаж военных моряков. Подводников, если судить по нашивкам. Поодаль от них, почти в хвосте самолёта, у переборки с дверцами в гальюнами расположились на таких же матрацах одинаково с нами одетые пассажиры. Они тоже лежали, развалясь вальяжно, на таких же матрацах. Нас пригласили к ним. Мы подошли. Тут, будто играючи, дядьки в лётных меховушках накинули нам на запястья правых рук по «браслету» на длинной, метра по два, будто собачьей, цепке…

— Чтобы развернуться в гальюне, и там — для маневра, — объяснили.

— А если запутаемся? — спросил осторожный Степан.

— Срать схочешь — распутаешься, братишка. — Пояснил морячек. — Далёко следоваете?

— Об том прочерк в контракте.

— Ясно…

Ему ясно было. Нам — нет…

Моторы взревели густо, грохотом обгоняя один другого… «Борт» вздрогнул. Рванул… Нас свалило с ног. Прижало к переборке…

…Мог ли я в эту минуту подумать, что где–то за тридевять земель бывший полярный лётчик Голованов, отогнув рукав полушубка, взглянет на хронометр. И удовлетворённо подберёт губы на своём неулыбчивом лице… Он знает: его рейсы в Арктику отбывают точно в назначенное им время. Я узнаю о том лишь через тридцать лет на его Икшинской даче…

— С отбытием! — Вроде поздравил один из соседей, — тоже зэк.

— По обстановочке, — сказал осторожный Степан. — Время покажет, отбываем ли, или так… Всякое случалося…

— Лады! Устраивайтесь пока.

— Вроде, устроенные уже — на цепках вот, навроде кобелей…

— Не на парфорсах, всё же… И такое практиковалося… Спасибо ещё.

— Спасибо!

— До чего вежливые народы пошли! — откликнулся кто–то…

…Синие «дежурные» лампы излучали уют. Салон угомонился понемногу. Под спокойный гул двигателей народы спали. Только

мы не могли уснуть. Ворочались. Вглядывались пристально в чёрные глазницы редких иллюминаторов. И они нас разглядывали неподвижными огнями больших звёзд и россыпями мерцавших созвездий. Щурились в сполохах мягкого отсвета медлительных лент голубого сияния…

Но мирный гул понемногу успокаивал и нас. Сваливались вниз, исчезали в ночи постылая Земля и кровавые её химеры. Размылись и пропали в тёмной бездне материка видения– призраки у пропавших берегов пропавшей Реки… Но не пропадал, остался — верно, навсегда — некий зрительный ряд, рубец незаживающий, где

«…свет казался тьмой,
Тьма светом; воздух исчезал;
В оцепенении стоял,
Без памяти, без бытия,
меж камней хладных камнем я…
То тьма была без темноты;
То было бездна пустоты
Без протяженья и границ;
То были образы без лиц;
То страшный мир проклятый был,
Без неба, света и светил,
Без времени, без дней и лет,
Без промысла, без благ и бед.
Ни жизнь, ни смерть — как сон гробов,
Как океан без берегов,
Задавленный тяжелой мглой,
Недвижный, тёмный и немой…»
/Байрон. «Шильонский узник». Перевод Жуковского/

…Здесь, в фюзеляже, было тепло и уютно.

За тонким его спасительным бортом, в отсветах полярного сияния, бушевала бесконечная — в полмира — Студёная Ночь. И самолёт стремительно уносил нас в её Пучину…

1951–1977 годы
Ишимба, Красноярский край — Москва
Читано 21, 22, 23, 24 декабря 1990 года
в вечерних передачах Радио Россия, Москва

Редактор — Александр Кошелев
Издано: Токио (1991 г.)
Тель—Авив (2000 г.)

Послесловие к «Бакинскому этапу»

В № 7 за 1990 г. московского общественно политического научно популярного журнала «РОДИНА» вышла статья Вениамина Додина «ПОСЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» о состоявшейся в 1931 году на Чёрном море (траверс Поти) второй из восьми встреч Сталина и Гитлера.

Последняя восьмая, по сообщению Дж. Эдгара Гувера 19 июля 1940 года в адрес Адольфа А. Берла–младшего, помощника Государственного секретаря США состоялась накануне второй мировой войны 17 октября 1939 года во Львове. («КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА», 11 окт. 1990 г.).

Публикация в «РОДИНЕ» сопровождалась выступлениями в СМИ крупнейших военных историков СССР Дашичева, Наджафова, Волкогонова и др., учёных США Фельштинского (Гуверовский институт Стенфордского университета), Брука (ЦРУ), Холмса (BALTIMORESUN) и др. и эссе и книгой великого итальянского журналиста Монтанелли (IL GIORNO). Реакция на «ПОСЛЕДНЕГО СВИДЕТЕЛЯ» рядового советского читателя — тысячи восторженных писем, телеграмм, телефонных звонков за описание трагической судьбы героя рассказа ; зарубежного — благодарность за прямое раскрытие, наконец, идентичности и генетического родства двух политических чудовищ — палачей XX века.

Однако, в этом благодарственном хоре замелькали сполохи неприкрытого злобного беснования и угроз судебных и, вслед, физической расправы над автором.. Понятная реакция избежавших возмездия 1944 года Прокуратуры Волжской Военной флотилии потомков и выживших подельников и апологетов интересантов так называемого «Хлебного дела» — героев статьи.

Что творили они — о том в романе В. Додина «ПОСЛЕСОВИЕ К БАКИНСКОМУ ЭТАПУ».

В вечерних передачах 21 – 24 декабря 1990 года на «РАДИО РОССИЯ» Вениамин Додин прочёл рассказ «БАКИНСКИЙ ЭТАП». Во время подготовки радио выступления — 30 ноября — был убит инициатор и организатор его ко дню открытия РАДИОСТАНЦИИ, — 10 декабря, — Иван Павлович Алексахин, Председатель одной из центральных комиссий по реабилитации с 1955 –1980 гг. жертв репрессий, а в 30–х — помощник Никиты Хрущёва, в бытность того секретарём Бауманского районного и Московского городского комитетов партии. Одновременно погиб в пути главный свидетель трагедии на Волге 1943 года, участник и

случайно выжившая жертва «Бакинского Этапа», солдат Иван Парнышков.

Вениамин Додин случайно остался жив: в тот час 30 ноября, когда он уже оставлял дом для свидания с киллерами, пригласившими его на встречу, к нему нежданно явились его лагерные японские товарищи, и дети и внуки тех, которых спасал он в 40–х -50–х гг. от смерти на Мостоколонне ОЗЁРНОГО ЛАГЕРЯ Братска (Иркутская обл.). Они искали Додина 40 лет! Нашли, наконец. И некогда спасённые им, явились, чтобы спасти его…

Озлобленные состоявшимся радиоразоблачением своих предтеч, всё ещё сильные, ещё цепляющиеся за властные полномочия, интересанты сделали всё, чтобы от В. Додина избавиться.

И приговорили его с семьёю к депортации 28 января. О чем СМИ Японии 25 января 1991 года «ПРЕДУПРЕДИЛИ СТРАНУ И МИР!» статьёю с фотографией и жирной датой «28» января в токийском официозе «THE SANKEI SHIMBUN»…

* * *

… Пронеслось полвека. Однако не дают покоя воспоминания о трагедии на Волге в 1943 году — о «Бакинском этапе». И о нашем с Алексахиным закономерном фиаско в попытке «на плечах» XX съезда компартии СССР возбудить уголовное дело «по факту массового зверского преднамеренного умерщвления заключённых» теми же коммунистами.

Кроме очередного — невесть какого по счёту — доказательства изначальной подлости любого, даже, будто бы, «оттаявшего» каким–то образом, советского режима, наша с Иваном Павловичем «гражданская инициатива» обошлась нам дорого. Ему — обширным инфарктом, клинической смертью, полугодом реанимации, больничкой ещё с полгода, инвалидностью. Мне и Нине Оттовне, пребывавшей на седьмом месяце беременности, нашему маленькому сыну — выдворением в марте 1957 года из Москвы в «места компактного проживания немецких поселенцев», — именно в самый отдалённый от Бийска тупик Горного Алтая. Ивану Ильичу Парнышкову, главному свидетелю трагедии, — арестом, девятью месяцами следственного изолятора Матросской тишины, семимесячным /!/ этапом «к месту постоянного жительства» — в Кинель за Самарою. Наконец, тридцати семи свидетелям — участникам нашего обращения во властные структуры — тридцатисуточным «административным задержанием» в предвариловке и перспективой уголовной ответственности «за злобную клевету на советский государственный строй и его руководителей». Лихо для

постсъездовской оттепели, придуманной и воспетой эренбурго–евтушенковскими сиренами–провокаторами.

Через год, тоже в марте, — скандалом, учинённым вернувшимся к жизни и поднявшимся с койки Алексахиным своему партайгеноссе — соратнику и «другу» Никите Сергеевичу Хрущёву, — перед нами — и только лишь перед нами — извинились /кто? когда? где? — осталось государственной тайной/. К этому времени я был уже аспирантом Института Академии Строительства и Архитектуры. Его руководство пригласило меня возглавить лабораторию Крайнего Севера. Потому, счастливо прожив год в одном из самых прекрасных уголков Планеты, родив там дочь и, попутно, приобретя трамплин в «социалистическое общество», мы возвратились в столицу к нашим старикам, навстречу нашей беспокойной судьбе.

Восстановленный на Алтае текст рассказа «Бакинский этап», подлинник и копии которого отмела у меня московская милиция в марте 1957–го года, я немедля запустил в «Самиздат» и в зарубежные правовые организации. А осенью того же 1958 года, в США, передал в Библиотеку Конгресса, предварительно посвятив в подробности ужаса на Волге нашего доброго гения из Абилина Дуайта Эйзенхауэра.

Не надо думать, что я не понимал, чем закончится наша с Иваном Павловичем попытка «восстановить справедливость» в инстанции, которая до 1956 года тридцать восемь лет обрушивала на распятую и насилуемую ею несчастную страну каннибальские репрессии, кары да казни. И сам ни при каких обстоятельствах и близко бы не подошел к Большому дому на Новой площади. Но… Милейший Иван Павлович! Он был непередаваемо прекрасен в глубоком убеждении, что именно там, в Центральном комитете его родной партии, нам следует добиваться справедливости!…

Молодым инженером–строителем, выпускником МВТУ, путями неведомыми оказался он ещё и в помощниках секретаря Бауманского районного, а затем и Московского городского комитета партии Хрущёва. И даже «дружил домами» со своим партайгеноссе и шефом. Это никоим образом не помешало Алексахину отмантулить 20 лет Колымы и ссылки в Приангарьи, где мы в 1951 и подружились. За пять месяцев до XX съезда его привезли в Москву и привели к Никите Сергеевичу. Тот обнял его. Облобызал. Вместе с ним всплакнул горючими слезами. И подкинул Ивану Павловичу самую клёвую синекуру — помощником председателя комиссии по реабилитации бывших чекистов–коммунистов под патронажем товарища Шверника Николая Михайловича. Николай Михайлович тоже облобызал

Алексахина. И спихнул на него сектор этой лавочки, — Комиссию по реабилитации большевиков, — снова и только! — содержащихся в Особом №1 «Минеральном /!/ лагере МВД СССР» с центром в городе Инта Коми АССР и в Особом №6 «Речном лагере МВД СССР» в Воркуте, организованных приказом МВД № 00219 от 28 февраля 1948 года. Где уж тут не воспылать любовью к репрессированному человечеству и не кинуться восстанавливать справедливость! Потому Иван Павлович, поняв случившееся как доброе знамение, ринулся в бой за спасение тех, кто сидел по каторжным лагерям. Но, как мы знаем, не забывал про невинно погибших. Он был честным и порядочным человеком. Он был даже поэтом! Никогда не забуду его стихотворения, в котором он — весь сам. Сочинил он этот шедевр ещё на Колыме, в колхозной кузне, где под началом пропойцы — вольного кузнеца — ковал гвозди:

«… Цепями рабства
я прикован к мрачному горну.
И в мире политического ****ства
подчиняюсь всякому говну…»

Он очень гордился этим стихом. Но верил в свою партию. И по моей к нему любви, подбил меня на провальную аферу с «Бакинским этапом»…

Прошло ещё 44 года. К этому времени, превратившись теперь уже в восьмидесятидвухлетнего ребёнка, он продолжал мотаться по Москве, организовывал митинги–сходки политкаторжан. Собирал заседания активистов из давно выживших из ума по преклонному возрасту бывших сидельцев. Выбивал в инстанциях пенсии, льготы и жильё для инвалидов из реабилитированных. И прикармливал зимою дома, а летом на даче, разнесчастных полусумасшедших старух бацилой из своей кремлевки и на свою пенсию… При этом он не хотел замечать, что первыми у его гуманитарных кормушек всегда и всенепременно оказывались бывшие оперы–костоломы, профессиональные исполнители смертных приговоров, попки–алкаши и всякая прочая шушера из «органов», прежде других освобождённая своим родным правительством. И оправдывался: — Не считая отсидки, они же свой век в зонах отмотали!

В те дни было мне не до совершенно уже стариковских алексахинских благоглупостей: я заканчивал последние расчёты по адаптационным режимам развёртывания инженерных подразделений моего «Спасения» в условиях высоких широт и высокогорья. Спитак, Никарагуа и Колумбия показали давно втолковываемую мною в светлые головы моих коллег по Организации необходимость создания особой поведенческой

системы наших медицинских мобильных подразделений. А в лаборатории всё ещё продолжался изнурительнейший марафон решения задач, трёхмерность которых начинала меня, старика, сводить — вот так же вот, как Ивана Павловича — с ума!

Потому с превеликим удовольствием, с лёгкой руки Рады Никитишны Аджубей, отложив математику, накропал очередной рассказ «Волчина» — эдакую почти что пастораль о моей жизни с моим волком «в дебрях Енисейского Кряжа». Рассказ о счастливой, — именно, о счастливой жизни именно с волком! Мне кажется, и она сама, и зав. отделом редакции милейший Вадим Семёнович Тюрин, ныне покойный, поняли меня. И вздохнув хором, опубликовали и ЭТОТ мой рассказ /как делали всегда, на протяжении без малого тридцати лет нашего сотрудничества/ в апрельском, 1990, номере.

Что же, по крайней мере, два миллиона семьсот тысяч подписчиков и покупателей «Науки и жизни» /а может даже еще и все члены их семей/ рассказ прочтут. И тоже поймут, и даже согласятся, что хорошо в нашей замечательной стране вот так вот, как автор, жить с волком…

Только отнёс «Волчину» на Мясницкую, в журнал, — звонок редактора издания «МЫ» Тамары Алексеевны Александровой:

— Вениамин Залманович! Очень срочно! К тяжелейшей теме: «Чернобыль и советские дети» /!?/, нужен рассказ о жизни американских детей, но… без «Чернобыля». А? Напишите!»

— Но у меня нет времени, — отбиваюсь, не пугая её вознёю вокруг меня: она ещё и редактор «Ведомостей Верховного Совета СССР»!

— Найдите время! Ну, пожалуйста!…

И в мартовском номере, «экспрессом», пошел мой рассказ «Буржуйские дети», — кощунственный на фоне страшной беды 26 апреля 1986 года…

Между тем, занимаясь своими чекистами, Алексахин не забывал и о «Бакинском этапе» и напоминал мне о необходимости, несмотря ни на что, заставить власти раскрыть «преступление века». Для чего постоянно следил за «розою» политических ветров, раздувавших тогда гнилое рядно имперских парусов. Полную бесполезность своего подвижничества этот дон Кихот понял лишь тогда, когда крахом окончились все его почти полувековые попытки заставить советское общество почтить память миллионов казнённых сограждан хотя бы самым скромным памятником.

Часами этот аскетически худой высокий человек с детскими голубыми глазами, опершись о трость, стоял на Лубянской площади перед истуканом — Дзержинским. Этого, — за смерть

«во–время», — он продолжал уважать. За бронзовым человеком в бронзовой шинели он ещё различал дом, где ему ломали рёбра и заставляли расписаться за какой–то немыслимый и отвратительный бред заплечных авторов. Вспомнив что–то, он про себя, иногда и вслух, пытался допытаться у своего «старшего товарища по партии»: как же всё, что случилось, случилось? Но тот отмалчивался гордо.

Алексахин воспрял духом, когда неожиданно для него, в открытую, начал действовать я. В мае 1990–го скандалом взорвалась попытка издать в пятом номере журнала «Родина» первую часть первого раздела первой главы моей 48–и листовой рукописи «Комплот» о встречах Сталина и Гитлера. Сама рукопись, рекомендованная к изданию маршалами Мерецковым, Рокоссовским и Жуковым, в 1968 году ушла в Воениздат. Оказалась на столе начальника Политуправления Армии Алексея Алексеевича Епишева. И читалась всеми его приближенными 20 лет /!/. В 1989 году приятельствовавший со мною Эрнст Генри сообщил мне, что годом прежде набор моей книги — значит, уже и набор был! — был рассыпан. Честь фюреров спасена.

Володя Долматов, главный редактор «Родины», оценив драматизм ситуации, решает было дать в номер хотя бы главку из «рассыпавшегося» «Комплота». Но подводить его права не имею. Тем более, вокруг журнала начинается какая–то нечистоплотная возня. Того мало: являются на Новослободскую, в помещение редакции, и просят сотрудников ее исчезнуть…

Вмешивается Ленинградкое, потом Московское телевидение /!/. Таня Миткова прорывается к Ельцину. Борис Николаевич:

— Шта-а? Журнал забираем! Будет изданием Верховного Совета Российской Федерации! Вот!

В седьмом номере теперь уже Российского журнала «Родина» выходит в свет мой рассказ «Последний свидетель» /из приложения к «Комплоту»/ - о втором /до 1968 года я знал лишь о трёх встречах Сталина и Гитлера из состоявшихся семи/ свидании двух фюреров. Вот он.

* * *

…Майской ночью 1951 года меня разбудил санитар доктора Паникова священник отец Афанасий.

— Случилось что?

— Случилось, Веня: хороший человек помирает. Копыльников, Валентин Михайлович. Он говорит, что знаком с вами — у вас на Мостовой мотористом трудился. Рак у него. Печень. С год назад Павел Алексеич оперировал его. И вот… Он в больничке десять дней. Живёт в муках. Особо тяжко ему, что молчун он — молчит и молчит, постоянно. Отгородился ото всех.

А сегодня вдруг заговорил. И теперь просит он нас, Вениамин, душу его облегчить, приняв перед кончиною покаяние его.

— А меня почему? Поп я, что ли?… Извините. И что я могу сделать для него?

— Выслушать. Есть ли для умирающего, да просто у человека, чего–нибудь более необходимое, чем знать, что уходит он выслушанным, понятым, прощённым? И ещё вот — о праве принятия исповеди: вы меннонит по маменьке вашей. И это обязывает вас исполнять все священно служебные требы, — нет у вас на то рукоположенных служителей. Вот и исполняйте долг свой. Как я понимаю, ещё и почётный, преподнесенный вам за дела ваши. Тем более умирающий, может статься, — отец Афанасий сурово и осуждающе взглянул на меня, — да, может статься, близок по душе к маменьке вашей. Или вы этого не чувствовали?

Чувствовал, конечно… Ловил в разговоре с Валентином Михайловичем чуть заметный акцент.

— Мне кажется, просьба его говорить при вас вызвана не только духовной общностью, очень важной, конечно, в его состоянии. Но, как бы это выразить точнее… Верой. Уверенностью, что у вас неизмеримо больше, чем, скажем, у меня, шансов выйти отсюда на свободу живым.

Мы спустились во вросший в землю барак больнички, прошли по короткому коридорчику и втиснулись в крохотную каморку — «палату». На постели под серым выцветшим одеялом лежал длинный худой человек. Священник помог ему приподняться, я быстро подоткнул под спину подушку. Он тяжело опустился на неё, положил затылок на железное изголовье кровати, пошевелил губами, помедлил и, набравшись сил, выговорил:

— Спасибо, что пришли. Вы меня узнаёте? Я как–то с вами познакомился на Мостовой — вы к нам в дизельную приходили. Помню наш разговор. Помню фамилию мамы вашей — Менке — и её имя — Файни Элзи… Ладно. Дело надо делать. Успеть рассказать. Очень важный случай был у меня в жизни. Поломал он её безо всякой жалости. Как танком по мне прокатил. Не по мне одному, конечно. Полагалось мне со случаем тем в могилку уйти тихо. Не получилось — жив я… ещё. И, прожив все эти годы бездомным псом в своём же дому, я решил, что одному мне нести в себе тот случай более нельзя — душа не тянет больше. Пусть теперь тайну и другие несут, кто возьмётся. Тогда и жизнь их злосчастная будет им понятнее…

Он сделал несколько глотков воздуха, облизал губы:

— На Кавказе родился я. Вырос там в немецкой колонии. И на службу оттуда пошел — на Черноморский флот. Дизелистом.

На флоте служил на торпедных катерах. Ещё, на сторожевиках, в пограничниках. Там же, на Чёрном море, в долгосрочном, стал ходить на портовых буксирах. В Батуме сперва. Потом в Поти. Там всё и случилось в тридцать первом году, к осени. Капитаном у нас на буксире был Вдовенко, Пётр Никодимович. Он сообщил, что ждём на судно большое начальство. Ну, мы медяшку надраили, отшвабрили палубу, в помещениях прибрали. Прибыл Капитон — человек в Грузии известный. Пограничным командиром был на турецких границах. Осмотрел посудину, перетолковал с Вдовенкою. Как сошел на берег, мы за пирсы отошли и там якорь бросили.

Часов в десять вечера — темно было, моросно — подошел к нам катер. Прогулочный. Взяли с него на борт четырёх человек: Сталина, толмача с ним, ещё двух с охраны. Один, что с охраны, влез сразу ко мне в рулевую и не отходил до самого конца. Другой тёрся сперва на баке, потом ушел с нашим матросом в машинное.

Поставил меня Вдовенко к штурвалу, а сам у дизеля. Вышли в море, на вест. Часа через четыре хода заметили по курсу яхту без огней. О двух мачтах, навроде брига. Застопорили. С яхты посудина подошла, с гребцами и тремя пассажирами. Когда они поднялись к нам, я главного сразу узнал — Гитлер! Мать честная, подумал, а он–то что тут делает? Зачем пожаловал? Я-то его как узнал? В колониях у нас книжку его читали — прятали. «Майн Кампф» — «Моя борьба», значит. С портретом, конечно. Только не понятно мне никак, зачем встреча. Он же враг!

Сталин с толмачём встретил этих троих у борта. Потом все вместе в кубрик.

Разговаривали они часа четыре. Попрощались на баке, прямо передо мною. Потом все трое, что с яхты, попрыгали в свою посудину, отошли. Вдовенко подал команду: на «полный», огней не зажигать…

Когда проблеснул маяк в Анаклии, вроде я два выстрела услыхал. Гулко так. Потом ещё и ещё. Я спросил того, что торчал возле меня, с охраны: «Стреляет кто–то, или померещилось?» — «Померещилось». — «Ни хрена! Из маузера стреляли, я-то знаю…» Он сказал: «Всё–то ты знаешь!»

Дальше идём. Вроде засветлело. Кавказ вырисовался… Видно стало почти всё на буксире, а матроса на баке и по бортам нет. И того, который к нему приставлен, тоже нет. Беспокойство во мне поднялося, тревожно стало. Не дурак же — понимаю, что рейс «тёмный», темней некуда. Зачем бы Сталину прятаться, ночью ходить тайком, огни не велеть зажигать, чужих к команде приставлять — хозяин же, барин, главный в республике! И

выстрелы. Рейс, получается, секретный, а стреляют, шумят. Тот, который со мною, будто кот настороженный: чует, падло, что я задумался, и глаз с меня не сводит. Плохо моё дело, думаю. И Вдовенко в машинном молчит.

Между прочим, туманчик нашел, заморосило сильнее. И видимости по курсу совсем никакой. Кричу в телеграф:

— Капитан! Вперёдсмотрящего на бак! Ни хрена не видать по курсу!

Который со мною толканул меня об переборку, по трубке ударил:

— Крути, парень, свою баранку и молчи! — И даже руку мне на шею положил твёрдо. Я подумал ещё: ну и амбал! Враз придушит…

Ещё подумал: плохо. Вдовенко не отвечает, а должен был обязательно ответить. До берега ещё ходу часа два — далеко. Молчу. Кручу штурвал.

Тут навстречу из мороси — ну, прямо по курсу — прёт танкер! Когда прошел он мимо и моросью завесился, я того, что со мною, на «калган» взял жестко так, в злости… Грех на мне: добавил ему пару раз «шведкой» — упасть–то ему некуда было, рубка маленькая. Заклинил штурвал штангой… Потом выполз пластуном к фальшборту, взялся за кранцы — ими весь буксир обвешан — и нырнул.

Страшно: только что человека порешил. И как же мне тошно стало от этого! Я ведь в жизни никого пальцем не тронул… А этого… Видать, по службе в ГПУ или ещё где, подневольный он, команду выполнял.

Ладно… Отошел малость в воде. Подчалился к иллюминаторам в машинное… Нет никого! Один только охранник мельтешит у дизеля. Меня как резануло по мозгам! Ну, сказал себе, прощайте мои товарищи–братцы! А я ещё рассопливился, гада пожалел… Оттолкнулся от кранца, от буксира своего родненького, и поплыл на север, по течению — куда вынесет…

Валентин Михайлович глаза закрыл и замолк. Отдыхал. Только теперь, когда голос его затих, стало видно, насколько мучительно, тяжко было ему говорить.

… Вечером, после работы, захватив у Столяревских молоко и хлеб, я отправился в стационар. Валентин Михайлович лежал с закрытыми глазами. Потом почувствовал меня. Поднял отяжелевшие веки. Поглядел искоса. Губы его дрогнули:

— Спасибо.

— Не за что. Вот, молоко свежайшее с тёплым хлебом. Освежите горло — вам рассказывать о себе легче будет. Я ведь

напрашиваюсь послушать вас. Очень нужно, чтобы вы всё рассказали — о радостях, что испытали, и о горестях. Чтобы всё это не ушло с вами. Те, кто «планировал» тот случай, они вас, человека, вовсе не брали в расчёт. Как, впрочем, и всех нас.

Пришел доктор. Поглядел на нас сквозь толстенные стёкла очков. Но смолчал. Наладил шприц. Быстро ввёл какую–то голубоватую жидкость. Согнул руку Копыльникова в локте. Велел попридержать. Вышел.

Валентин Михайлович, выдохнув, проговорил глухо:

— Как до берега добрался… — Он будто вовсе не прерывал рассказа и словно не заметил прошедшего со вчера времени… — Как до берега добрался, посейчас не помню… — Он весь, без остатка, жил в своём рассказе. Жилы на его висках бились, будто дёргал их кто–то… — Не помню… Думал–то о чём? Думал — ищут! И что которые ищут, не хуже моего знают и про морское течение по–вдоль берега, и куда оно несёт, и про то, что деваться мне некуда. Одно только утешение — родителей уже давно нету на свете. И детей нет ещё, слава Богу! И жены нет. Значит, мучить им некого за меня. Некого казнить. Так вот. Радость и такая бывает, что один ты на свете…

Мотало меня море суток, может, двое или трое. Пока от Поти уходил и до берега добирался, чуть жив. Потом болотами шел, тоже суток пять или, может, шесть — прятался же ото всех! И недельки через полторы–две ли дотопал до Бамборов, за Гудаутами. Там кунак отцов жил — Нестор. Отец в Гражданскую бессчётно спасал ему жизнь, и о том носил память при себе: пулевые дырки в плече и в ключице правой.

Мне потом, через много лет, дочка Несторова, Ксения, рассказала: Капитон в тот самый день, когда я к Очемчире подходил, заехал в Бамборы — вычислил меня, пограничник! Знал, что некуда мне больше податься на том берегу, кроме несторова дома.. Он–то, Капитон, отца моего тоже хорошо знал, к нам в колонию ещё когда наезжал. Со мной тоже был знаком.

Только я ночью в дом вполз, послал Нестор за Капитоном: тот меня дожидался. Пришел к утру. Будить не велел. Выспаться дал — понимал же, что столько дней плыл да шел я без сна. Уже к полудню подняли меня. И у нас с Капитоном, за столом, разговор был долгий. Потом уложил он меня в бричку, соломою накрыл. И отвёз почти что до озера Рицы. Подарил ксиву, удостоверение личности. Документ настоящий, конечно, не на мою фамилию. Тогда паспортов ещё не было, какие сейчас. Они году в тридцать третьем, к середине, пожалуй, появляться стали. Оставил хурджум с едою. И вина бурдюк. Попрощался. И пошел я в горы, через леса, мимо озера. Добрался перевалом до Красной Поляны.

А там Северный Кавказ — Россия.

Ночью, на костерке, спалил я это «удостоверение» Капитоново. Не верил ему. Не может быть, что он не знал, как Сталин с нами обойдётся. А знал, так пошто не отставил меня тогда от рейса к яхте?!

И ещё думалось мне, что не искали бы меня, уйди я «чисто» — убили, мол, и за борт проводили.

Но тот, что ко мне был приставлен, кто же за него ответ несёт? Кто–то конечно, должен был отвечать…

Сжег я, значит, документ. Добрался до Кичкаса под Самарою, где два моих дядьки — материны братья — хозяиновали на земле. Добраться добрался… только там никого уже нет — раскулачили всю как есть колонию, растащили–разграбили. Стариков — к стенке. Молодых — в лагеря на север. Баб с детишками — кого куда. Больше — в Восточную Сибирь да на север. И ушел я тогда дальше — на Урал. От Перми недалеко пристроился работать на малом заводишке — сперва кузнецом, потом в шорники меня позвали. Шорников–то нигде нет, — это же были первейшие мастера! Их в первую очередь поубивали за зажиточность. Тогда все заводы лошадьми только и жили — конными цехами, как теперь транспортными. Но тянуло меня очень к дизелям! Да и нужда в дизелистах была большая, куда больше, чем в шорниках. Но боялся, что сразу «определят»: ищут–то, думаю, дизелиста…

С лошадьми, конечно, милое дело: домом пахнет, колонией. И — на краю. Тогда тьма раскулаченных работала вокруг на заводах — все без документов.

В самом конце 1937 года, когда увидал, что берут людей бессчётно — из вольных ли, из бывших ли кулаков — всех берут, задумался. Судят, смотрю, безо всякого суда, как на Гражданской. Да срока объявляют страшенные, а через раз и вовсе «вышака» дают. И придумал спасение, или люди подсказали — не помню. Продал я мужикам пару хомутов казённых, что сам стачал на конном дворе. Подставился старшему конюху. Он и настучи на меня. По 162–й, часть 1–я, попал я таким путём в КАРГОПОЛЬЛАГ на три годочка всего–то. С бесконвойным режимом, как малосрочник. Тогда уже и «червонец» малым сроком считался. Время такое наступило. Кругом «враги народа». А я, значит, теперь вор обыкновенный — «социально–близкий элемент», друг народа. Свой, браток. Посадили меня в январе тридцать восьмого. А в декабре, когда Берия наркомом сделался, — вместо Ежова, — стали таких «друзей», как я, близких, тысячами на волю выгонять. Готовили, видно, места под щуку.

Мне–то свобода ни к чему, концом жизни она оборотится

тогда. Ищут же! Мне лагерь с конным двором нужен — лучшей доли не надо. Там анкет писать не требуется, документы никто не спрашивает.

Что делать? Снова хомутами торговать? Так ведь могут по закону за соцсобственность к стенке поставить — рецидив же! Нет! Напился я впервой и, пьяный, отлупил десятника; по–человечески, конечно, без вредительства, хоть и гадом он был беспримерным — девчоночек ссыльных насиловал.

Конечно, законвоировали меня, в зоне оставили, и под амнистию я не попал. При конях своих остался. Рад был.

В январе сорок первого года снова маета: сроку конец. Выгонят — что делать буду? Анкету же писать! Но не выгнали совсем — вольным оставили при своём деле. С временным паспортом.

Война…

В тот день всех немцев из ссыльных в зоны загнали. И меня с ними вместе — толмачом вроде…

И завёлся я: как же, думаю, старшина флотский, дизелист на катерах — и тут, в тылу, вилами да языком махаю! Не быть этому! На фронт! Тогда многие переполошились — на фронт!

Местность вокруг всех зон знакомая, народу эвакуированного понагнали — не протолкнуться. Ушел я тихо–мирно из зоны. А в Перми, на толкучке, взяли меня в облаве и — на сборный пункт. Так все делали, кто на фронт хотел. И знали все об этом.

Попал я в команду, приставили к коням, в обоз. Без доверия, значит. Ладно, с доверием, без доверия — воюем, старшина!

До Куйбышева ещё не доехали, накрыли ребята ночью двоих солдат в нашем вагоне: по–немецки разговаривали, шептались. Драка, конечно: «Фашисты! Бей гадов!» И бить начали по–страшному. Ну, я-то что, не человек совсем? Как смолчу, на нарах лёжа, когда людей невинных казнят? Не драка же — убийство. Теплушка–то с конями, с сеном; значит, вилы у всех. Полез разнимать. Мне: «И ты с ними, гад? Бей и его!» Я за вилы — и мне вилами. Успел дверь откатить, но выпрыгнул уже не сам — «помогли». Подобрали меня обходчик с дорожным мастером. Утром ручной дрезиной доставили в железнодорожную больницу. Морда ободрана до костей. Зубов спереди и сбоку восемь штук как не бывало. Рука левая вывихнута. Левая нога сломлена, в двух местах, и кость голенная торчит из–под кожи, на ладонь вылезла. Отправили в госпиталь в Кинель. Как ни плохо мне было, сообразил: молчать надо. Молчал. Месяца через полтора опер приходил, для порядка. Документы–то были исправные. Настоящие солдатские. Только на имя не моё. Он протокол составил, с тем и отвалил. Ещё я с месяц пролежал. Кости вроде

срослися. Опухоль на плече спала. Морда заросла. Отправили меня на завод, здесь же, в Кинеле. На костылях. Недельки через две ушел я оттуда по–тихому, с костылями–то.

Обидно было очень, что на фронт не попал. Думал: провоюю на фронте, медаль получу. Или орден. Дадут краткосрочный — домой. Тогда приеду в Поти, к начальству: так, мол, и так — явился бывший флотский старшина, а теперь… ну, командир какой–никакой и кавалер. Разыщу Капитона — пусть видит, что не напрасно жизнью он рисковал, мне благодействуя. Ещё и потому такие дитячьи мысли приходили, что такую же ахинею в газетах читал, и потому ещё, что я снова бояться стал, но уже не за себя, — за Капитона. А когда думал о таком будущем, забывал ночь на проклятом буксире, страх, забывал даже, что воевать надо идти со своим настоящим именем, с фамилией своей отцовой. Не для памятника на могилке — какие там, на фронте, памятники. И не чтобы похоронка в настоящий дом пришла — дома–то никакого у меня нет. Сталин о том позаботился. Но чтобы знать–понимать, кто ты таков есть на самом деле. В кого пулю посылаешь смертную. За кого бьёшься.

И, правда, за кого мне было воевать? За «родину», которой я был чужим, «врагом лютым», потому, что тоже по–немецки умел? За «Сталина», который в меня случаем промахнулся? Или, напротив, за «Гитлера», потому что тоже понимает немецкий? Так Гитлер — он же с кунаком своим Сталиным, в меня стреляя воровски, тоже чуть–чуть не попал! Я ведь никак забыть не мог: встретил Сталин гостей с яхты, будто давно дружных, как вчера расстались…

Ладно, мир они поделили. Договорилися по–хорошему изничтожить паразитов, от евреев освободиться, чтобы дать Земле отдохнуть и отдышаться от нечисти… Так они договаривалися… Я тогда, на буксире, слышал их разговор. Конечно, про политику много не понял — с моим–то немецким из колонии… Но всё равно — шутка ли, — Сталин с Гитлером сговаривались!

Сложилось у них — дружба. Согласие во всём. Тогда, на буксире, много чего умного поминалось. Подумал даже — дело они говорят. Особенно, про дрянь человеческую, которую начисто искоренят. Дряни–то, — эвона сколь её поразвелося! Просто так её не расчистить. И без них от неё не избавиться… Только почему же и меня — в дрянь? И меня — на мушку?!

И на тебе — драка промеж них. Война! Непонятно было сперва — как же так? Землю поделили по–хорошему. Шутили: — «Паразитов — на туки и в компостные ямы позакладывать!» Но правильно всё! Законно! Никогда ни об чём уголовники не сговорятся. Это я на урках лагерных проверил. Не знаю случая,

чтобы подонки эти, сговорясь, и матерью, или свободою побожившись, не продали один другого, если, вдруг, учуется выгода, или опасность. Только когда урки промеж себя воюют — одно дело. Они сами себя режут. А вот когда вожди–фюреры власть да землю делят — тут не у нар свалка. И не ссученных в гальюнной яме живьём топят — в дерьмо головами… Тут неповинных казнят: миллионами. Тут крови океан…

И надо же — как–то немец один, офицер, — германец из пленных, — говорил. Рядом работали. Познакомились.

— Знаешь, — сказал, — отчего Гитлер Рема убрал? Не–ет! Не оттого, что Рем пидор, и не из–за того, что взялся за генералов–мудаков. Не–ет! Убрал потому, что Рем посмел выговорить фюреру за самоуправство! Мол, без спросу у своих товарищей и без согласия партии посмел встретиться со Сталиным — уголовником!…

Конечно, я не мог открыться немцу про то, что сам знал. И не высказал ему, что Сталина — который действительно из уголовных — за посиделки с фюрером, да за заговор–приговор ихний совместный над Россией, никто у нас не только не попрекнул, а «спасибо» и «ура!» кричали «дорогому» по радиву и в газетах, когда Договор о дружбе подписывали в Москве перед самой войною. И никто никогда не попрекнёт — такой народ ручной у нас на своих фюреров. Он только на чужих злой, когда разбередят. На вашего вот. А всё потому, что наш–то фюрер куда способней вашего. Свидетелей своим делам никогда жить не оставляет. Даже дружков своих верных и самых проверенных, с которыми на Кавказе грабежами промышлял и мокрушничал в молодые годы, — даже их не пожалел, а потом и тех, с кем, погодя немного, вкруг Ленина карауля, часа своего выжидал. Потом уже, когда умер Ильич, — чтобы кто из корешей первое место на мавзолее не перехватил. Даже соседей–земляков в Гори ли, в Тифлисе, кто мог знать, хоть что о прошлом его «революционном» в охранке, да кто мог знать о знающих. И про них кто мог знать — всех поубивал!…

Весна сорок второго года наступила. Немец прёт по Украине да по России. А я всё в тылу придуриваюсь. Добрался тогда до Баку и стал трудиться на промыслах — на нефти. Я всё ещё о фронте думал. Вот, мол, выздоровлю, ноги сами, без костылей, начнут держать, и смогу я в военкомат без палок пойти, сразу хлопотать буду… Вот такие снова дурацкие задумки… Но ведь человек полагает, а Бог располагает. Почти всю войну я на промыслах оттрубил, а ноги никак не даются.

Женить меня хотели в Баку. Местная, азербайджаночка, была, вдова молодая. Не мог, не хотел ей жизнь ломать. Я так понимал:

нельзя человека в обман вводить. Недостойно и позорно. Грех.

Бросил всё и через море Каспийское — в Среднюю Азию, в Ашхабад. Там в разведке работал, на буровой, — я ведь уже на бурении старшим мастером был.

Не знаю, как бы дальше жизнь моя повернулася, — 1948 год подошел. Знаменитый: землетрясение случилось в Ашхабаде. И ничего от того города не осталось…

Горе всем, несчастье, страх и разорение. А кому–то счастье — и так, оказывается, бывает. Вот я… Мне, значит, из того вселенского горя счастье выпало. Когда через трое суток пыль и прах спали и стало видно, что натворено, наворочено. Подо всем этим содомом — люди раздавленные. А я додумался: воля мне через бессчётные смерти! Вот где несчастье моё, вот расплата за грех убийства: воля мне гибелью людей обёртывается.

Солдаты меня подобрали, приволокли в госпитальную палатку. Докладывают молоденькому лейтенанту: «Вот старик кричит, что грешен, что убил кого–то, что нет ему свободы».

Тот: «Еще один свихнулся. Везите на аэродром». А какой мне аэродром? О себе ли думать, собою ли транспорт загружать? Пока в пыльной темени трёх первых суток людей из камней вытаскивали да в сторонку относили, пока покойников хоронили, с солдатами детишек пока искали заваленных — о себе думать было некогда. Теперь — на аэродром. Отмахался я от солдат, снова в завалы пошел. И опять померещилась мне свобода…

Валентин Михайлович заплакал тихо, с обидой, по–детски всхлипывая. Руку поднять, чтобы утереть слёзы, он уже не мог.

Молчал долго. Потом тихо, чуть слышно застонал. И судорога хлестнула его по всему телу — злая, сокрушающая, обнажив болью стиснутые зубы.

Я сбегал за врачом. Он долго считал пульс. Уколол пантопоном. Растерянно взглянул на меня… Давал понять, чтобы закруглялись — не мучили человека…

Я поднялся, чтобы уйти и дать Валентину Михайловичу уснуть, но он услышал, и тотчас приоткрыл глаза.

— Сидите, — прошептал. — Мне ещё успеть… надо… Недолго уже.

Минут через двадцать, когда под наркотиком утихла боль, сказал:

— Там, в Ашхабаде, когда паспорта живым стали выдавать, сказался местным. — город–то уже знал прилично. С городского района сказался, от которого пыль одна и на кладбищах полные могилы — сам с солдатами рыл и зарывал потом. И стал я тогда, по ашхабадскому паспорту, Копыльниковым Валентином Михайловичем. Был у нас на плавбазе матрос Копыльников.

Только не Валентин — Семён. Хороший очень человек. Вот как стал я Копыльниковым. Ведь я, браток, не Копыльников, а Майер. Майер моя фамилия от отца моего. И имя мне мама с отцом дали, доброе — Рейнгардт. «Чистый сад» значит моё имя. И насрали в мой «Чистый сад» гады эти, Сталин с Гитлером. До неба говном своим сад мой завалили — не вычистить… Отца моего звали Отто, а маму Марией. Старшие братья у меня были — может, кто живой ещё? Работали в Донбассе, на шахтах. Из дома уехали почти перед самой коллективизацией — спаслись. Я тебе свою фамилию и имя называю не так просто. Про буксир и про яхту донесёшь до людей, на том спасибо. Но сообщаю почему: может, кого встретишь из Майеров, поговори. Вдруг — брат? Франц был брат. Ещё — Рихардт. Ещё Эвальд. А две сестры — Эльза и Герда. Ну, те ещё несмышлёныши. Конечно, Берия не жалел никого. Это ведь он, падло, тех четверых, что мы в Поти на буксир ваяли, провожал самолично, с прогулочного катера. Встречать, однако, не встретил. Я ещё в Баку узнал: буксир–то мой к месту приписки не вернулся. Как сообщили, утонул в ту самую ночь, когда всё получилось. Вот как, браток, Сталин наш любимый дела свои делал.

Они буксир утопили и нас списали разом, как не было нас на свете. А я всегда, всю жизнь думал–мучился: найдёт Берия сестрёнок моих маленьких. Они у материной тётки в Азербайджане жили, в колонии тоже. Им, сестрёнкам, тогда четыре и два годочка было. Герде, значит, два годочка…

Когда я настоящий паспорт получил в Ашхабаде, у меня биография стала почти настоящая, взаправдашная.

Вот тогда и решил посмотреть на родину хоть одним глазком. А если повезёт, прознать о своих родных — может, кто объявился, меня искавши. Конечно, в свою колонию я не выбрался — не было уже никакой колонии. Увезли в начале войны всех подчистую, этапами прогнали куда–то в Казахстан, слыхал, под Акмолинск. Или ещё куда… И моих в тех этапах — точно — никого уже не было.

В Бамборы, конечно, добрался. Лет–то сколько прошло! Ксению подкараулил — не узнала она меня сперва… Потом плакали оба, жизнь вспоминая. Очень мне хотелось Капитона увидеть. Спасибо ему сказать за смелость. Я всегда понимал и помнил постоянно, какая смелость нужна была, чтобы отпустить меня — не арестовать. Или не кончить совсем — и такое могло быть в его деле.

Но не увидел. Стал он большим бугром, начальником недоступным. И не дело мне его вот так же караулить, как Ксению. Схарчили бы меня караульщики его сразу, и он сам о

том, быть может, не узнал бы.

И вот убей не помню: угораздил я или нет просить Ксению хоть привет благодарный передать Капитону? Не помню и не вспомню. Может, ты когда это сделаешь?

4 мая 1951 года, в шестом часу утра, Рейнгардта не стало…

«… Бездомные, собаки мы все в дому нашем отцовом» — единственные его и последние слова в последнюю ночь на Земле… Слова принял отец Афанасий. Он обмыл, отпел покойного, проводил — с конвоем, конечно — на кладбище.

Могила самого отца Афанасия — Дмитрия Ивановича Алексинского, друга детства Васеньки Белавина, — будущего патриарха Тихона — на том же кладбище. Покровом могил их — и всех бесчисленных тысяч могил АНГАРЛАГА — стометровая толща воды Братского моря. Памятником — плотина Братской гидростанции.

Годы прошли.

В Гудаутах меня познакомили с Ксенией Авидзба, дочерью покойного Нестора Герии.

Разыскать Капитона Начкебию оказалось делом совсем простым: бывший пограничник, бывший начальник милиции республики, бывший шеф охраны руководителей «трёх держав» на Конференции в Тегеране, бывший Министр госбезопасности республик, — в эти последние, уже опальные годы, был директором Тбилисского ипподрома.

Я передал ему «благодарный привет» от старшины Черноморского флота, бывшего его пограничника, бывшего механика–катерщика, последнего рулевого «исторического» буксира.

Долгий вечер просидели мы за поминальным столом в просторной и запущенной квартире на улице Нико Николадзе. Генерал вспоминал старый Тифлис и давно ушедших своих друзей. Я слушал и никаких вопросов не задавал. Неожиданно, решившись, он спросил о Майере. Я рассказал о послекавказской жизни и о последних днях старшины.

Потом, уже ночью, Капитон водил меня по старым улочкам города и был весь в прошлом. Редкие в эти ночные часы прохожие кланялись ему и потом долго смотрели нам вслед. Он их не замечал. На рассвете, у дома номер три, куда мы возвратились, он предложил снова подняться к нему и отдохнуть. Но я видел, как он сам устал. И меня ждали аспиранты в гостинице. Мы попрощались.

Когда я уходил, он вдруг окликнул негромко:

— Батоно! Бели пригодится: яхта была болгарской приписки. Из Бургаса…

Повернулся и, старчески сгорбясь, растворился в тёмном провале арки…

Рассказ этот редакция «Родины» предварила моим, якобы, вступлением.

…. «История, которую я услышал в 1951 году в АНГАРЛАГе, много лет не давала мне покоя. Трудно было хранить её одному, но и опубликовать не представлялось возможным: даже в самые «тёплые» дни первой «хрушёвской оттепели» о Сталине говорили как о крупном партийном и государственном деятеле, допускавшем «отдельные ошибки». Назвать его преступником, поставить имя рядом с Гитлером — о таком не приходилось и думать. Теперь, когда звучит вся полнота правды о «вожде народов», не могу промолчать и я. Тайна последнего свидетеля была доверена мне, чтобы передать её людям…»

Интересно, о какой «полноте правды» речь?

И — ничего о моей книге о комплоте двух бандитов, провалявшейся в «верхах» четверть века и рассыпанной двумя годами прежде…

* * *

Рассказ, где все факты и фамилии — подлинные, подтверждал кровное родство большевизма и нацизма — обстоятельство, тщательно скрываемое. Он прошелся по «шарику», сопровождаемый тысячами откликов мировой прессы — от зверино–злобных до сопливо–восторженных. А читатели? Одни отрицали встречу: «Не мог Сталин контактировать с Гитлером — истребителем евреев!»/?!/. Другие полагали её невероятной: «Быть не могло, чтобы человек высочайшей морали — Гитлер — решился на встречу с уголовником, да ещё и покровителем жидов, испакостивших европейскую цивилизацию!»

Я атакован был валом писем и телеграмм! Много более девяти тысяч отправлений свалилось на меня только за первые месяцы после публикации рассказа! Друзья стеною встали на пути пытавшихся взять у меня интервью. Выстояли! Однако, не могли отказать Саше Кошелеву, редактору радиостанции «Юность». Ведь через неделю после запланированного им же интервью с его студийцами по поводу «Последнего свидетеля», в субботу 13–го октября должно было состояться моё радиовыступление к столетию генерала Эйзенхауэра. В моей стране его юбилей «отмечался» гробовым молчанием власти и народа, спасённых этим американским немцем от неминуемого разгрома германскими армиями. И Кошелеву потребовалось много мужества, чтобы такую передачу организовать. Он провёл интервью тайно вечером, в кабинете Долматова, пригласив в качестве оппонента подвернувшегося, как «рояль в кустах», гостя–

консультанта Московского Университета профессора Магнуса Бера. «Случайно» был Бер и автором неких досье о Дуайте Эйзенхауэре — руководителе Вооруженными силами Союзников в Европе и впоследствии президенте Соединённых Штатов Америки…

При первой же встрече он поздравил меня с «ещё не понятым общественностью планеты» значением публикации моего рассказа о встрече Гитлера и Сталина.

— Здорово, что они пока ничего не поняли! Тем сильнее будет эффект разоблачения большевизма. Хотя, по–мне, разоблачать следовало бы нацизм. Непонятно? Поймёте, когда на весах истории взвешена будет роль этих монстров в судьбах мира. Судить нужно именно нацизм, позволивший увлечь себя идеей комплота с вовсе уж людоедским образованием — большевизмом.

В основе философии нациста Гитлера — устройство жизни его немецкого народа освобождением от еврейской эксплуатации. И только. И не его вина, что ему пришлось ликвидировать эксплуататоров. Европейским «сообществом» он был поставлен в сложнейшие условия, и вынужден был пролить кровь.

В основе философии большевизма Сталина — беспредел вселенского кровавого разбоя, ценою жизни захватываемых им и собственного своего российского народа, который к тому времени он уже ополовинил. Есть разница?

— Посмотрите, как осторожен Дашичев. Как концентрируя внимание читателя на общности мерзавцев, он отвлекает его внимание от осмысления принципиального различия их программ и действий. А суть именно в различии! — Он развернул журнал и ткнул пальцем в строки Дашичевского эссе. — Поглядите, как он изощряется: «… рассказ о сговоре возник не на пустом месте. Чтобы понять истоки такого предположения, надо всмотреться в исторический фон эпохи, поразмышлять о том, что сближало двух вождей, двух преступников?

Как свидетельствуют документы, Гитлер /…/ очень высоко отзывался о Сталине, о его решительности в искоренении так называемых «врагов», то есть всех, даже мнимых противников. / …/ А из воспоминаний Хрущёва мы знаем, что и Сталин с уважением высказывался о Гитлере… Или вот: «Гитлеровский и Сталинский режимы — как близнецы. Единая партия, унифицированная идеология, всемогучая безопасность, отсутствие законности». Дашичев не заметил лишь разницы в результатах: один убил десять миллионов, а другой — Сталин — 60 в «мирное время»! По Дашичеву отличие лишь в терминологии. В СССР — агрессия под флагом социалистического миссионерства, осчастливливания других народов сталинской

системой… У Гитлера внешняя экспансия проводилась, как откровенное /Святая правда! Разрядка моя. В. Д./ завоевание земель, подавление и превращение в рабов одних народов, уничтожение других. Но на практике всё было поразительно похоже…» И восклицает: «Почему это сходство так долго оставалось незамеченным?» Он пытается ответить на этот риторический вопрос: «Мы привыкли противопоставлять себя фашизму. После тяжелейшей, кровавой войны сопоставление режимов звучало бы особенно кощунственно, дико…» И тут я с ним согласен и повторяю: с одной стороны — шесть миллионов погибших евреев, большинство которых считаются, — по «этико» — прагматическим соображениям, — убитыми на территориях, оккупированных немцами; плюс к тому — 105 тысяч немцев и европейцев–антифашистов, погибших от рук ГЕСТАПО в границах Рейха; с другой стороны — более шестидесяти миллионов россиян, уничтоженных Сталиным в так называемые «мирные» годы; ещё два с половиною миллиона крестьянских русских семей, истреблённых в полосе фронтов по сталинскому приказу №0428 от 17 ноября 1941 года; наконец, более трёх миллионов граждан оккупированных Сталиным стран Восточной Европы, погибших в результате операций НКВД-МГБ и «СМЕРШ». Всё это — не считая прямых жертв военных действий. Как же можно «сопоставлять и обобщать»?! А Дашичев — всё об общности и сопоставимости. Довлатов поступил профессионально: сбалансировал ожидаемую реакцию на ваш неординарный, если не сказать скандальный, рассказ рецензией действительно виднейшего учёного–историка. И тем защитил журнал, — и себя, конечно, — от ожидаемой истерики и атак ортодоксов. Дашичев здорово подыграл и вам: — «В былые времена статьи с подобными спорными версиями ни в коем случае не подлежали публикации. Но я полагаю, учёному и просто читателю стоит ознакомиться с этой историей /…/ Судьба её героя типична и поучительна…» Поблагодарите его… — /«Родина», № 7 за 1990 год. В. Дашичев: «Два фюрера», рецензия на «Последнего свидетеля»/.

Между прочим, перед самым «эйзенхауэровским» интервью я получил записку посла США в Москве Джона Метлока. С ним у меня сложились не простые отношения, хотя поначалу — с 1977 года — были приятельскими, даже дружескими. Он — однокашник моего американского брата. У брата в Ниидеме мы и познакомились в 1977 году. Однако, в Москве я, по–дружбе, посчитал себя вправе высказать ему своё неприятие его поведения. С удивлением я убедился, что этот по–профессорски респектабельный и не глупый человек, и к тому же полномочный

представитель великой державы, позволяет себе непотребное. Он откровенно вылизывает волосатые жопы наших партийных бонз, унижая себя и свою страну — и мою тоже. И делает это по капризам и в угоду амбициям своей супруги. А та, забывая, что она — второе лицо в иерархии посланцев США, бездумно кайфует на безвозмездно устраиваемых и плотно опекаемых КГБ вернисажах её ординарных фоторабот. Купается в фанфарных «рецензиях» всё тех же искусствоведов «в штатском». И — пусть не желая того — светит охранке всех, кто, проникая чудом на её выставки, надеется связаться с американцами в попытке хоть что–то передать на Запад или просить её помощи.

Итак, Метлок спрашивает меня: почему я отказываюсь от приглашения правительства США посетить мемориал Эйзенхауэров в день столетнего юбилея президента? Отвечаю: потому, что начиная с 1977 года мы не раз и не два навещали могилы Дуайта и Мэми, близких нам с супругой людей. Мы и впредь будем их навещать. Но мы ни в коем случае не станем участниками осквернения их светлой памяти арбатовыми–боровиками, — стадом рептилий, десятками лет изощряющихся в клевете на нашего друга и спасителя… Взрываются–то все они за бугор не к абилинским могилам. Отнюдь. Но «за кофточкими», как говорят в России, И уж вам–то это надлежит знать, господин посол…

…Пусть в ситуации не аналогичной, но хорошо мне знакомый писатель как–то проговорился: «Мне трудно ответить на вопрос, зачем я всё это рассказываю. Но стремление сохранить в людской памяти то, что безвозвратно исчезает, — одно из сильнейших человеческих побуждений…» В данном случае и я ему подчиняюсь.

Между тем, события 1990 года, и в их числе которым был я генератором, привели было растерявшегося Алексахина к «открытию»: Он решил, что нашелся человек, тем более дружески к нему расположенный, который заступит пост правоохранителя, оставленный им по немощи. Он поверил в меня. Решил, что я всё могу. И спровоцировал новую попытку, но теперь уже публичного, на многомиллионную аудиторию, раскрытия и осуждения давнего преступления предавшей его политической системы…

Не сомневаюсь, — он хорошо представлял все роковые последствия, — для себя и для меня, — своего решения. И я не осуждал его в то время, когда решение это принималось. Ведь оно стало спонтанной реакцией на убийство его друга и духовника протоиерея Александра Владимировича Меня. И сейчас — много лет спустя после роковой для о. Александра даты 9–го сентября 1990 года — задним числом тем более не берусь судить моего

товарища. Ведь и сам я понимал, чем может окончиться наша попытка высветить хотя бы «Хлебное дело», и по сей день скрываемое от России. А в ней уже вовсю свирепствовала откровенная делёжка национального достояния. И облеченная властью уголовщина отбросила ненужные вериги пусть всего лишь косметической законности. Другое дело — я ощущал некую досаду, связанную с тем, что затеянное Иваном Павловичем именно после выхода «Последнего свидетеля» может сорвать моё выступление на Третьей чрезвычайной конференции немецкого общества «Возрождение», назначенное на 14 августа, — выступление очень важное для «русских» немцев и, конечно же, чреватое последствиями для меня. Тогда я сумел уговорить его повременить с «Бакинским этапом». И был прав.

Лето 1990 года со всяческими абсолютно недееспособными комиссиями — цековскими и совминовскими — мотался я по приволжским областям. Я хотел сам, без посторонней «помощи», убедиться в том, что предполагал всегда, в чём никогда не позволял себе сомневаться: партийно–хозяйственная кодла, оседлавшая Сталинградскую, Саратовскую и Астраханскую области, никогда не допустит восстановления Автономной республики Немцев Поволжья. Мало того, она не позволит этим трудягам возвратиться на родину. Она великолепно знает, что восстановленные немецкие хозяйства — пусть даже те же колхозы — превратятся в доказательство неспособности российской администрации добиться того же расцвета сельскохозяйственного производства в русских анклавах, доведенных советской властью до беспросветной нищеты. Разительной окажется действительность. И допустить такое — допустить создания «выставки достижений немецкого народа» в центре России, в «русском сердечнике», как выражаются радетели народа из «Нашего современника», они не позволят. Костьми лягут, но не дадут быть земле кормилицей миллионов россиян! И в этом им поспособствуют и те же журналисты–патриоты, которые видят в каждом национальном образовании врагов русской идеи, и, конечно же, московские партийные боссы — жирующие на крови народа.

Поездки подтвердили мои самые мрачные предположения. И в своём выступлении я сказал, между прочим:

— На Второй конференции «Возрождения»… идя навстречу руководству страны, представляя ему дополнительное время для выработки решения, советские немцы продлили ему кредит доверия до окончания весенней сессии Верховного Совета СССР… Но за это время руководство страны даже и не искало путей решения проблемы. Потому мы вынуждены перейти отныне к

радикальным формам деятельности, в частности, направленным на организацию массового выезда своих членов из СССР в страны, правительства которых осознают, что же за контингент они принимают… Мы убеждены в том, что эти наши меры политического протеста не останутся неуслышанными другими репрессированными народами страны. И мы не сомневаемся, что отказ властей решить проблему своих немецких граждан, как граждан других преследуемых национальностей, потрясёт и до основания расколет российское общество…

… И немцы двинулись — десятками тысяч, сотнями тысяч семей…

Чтобы уяснить потери для России от эмиграции немецких крестьян, позволю себе привести отрывок из своего выступления на Третьей Чрезвычайной конференции «Возрождения» 15 августа 1990 года /тогда же подготовленного мною и срочно направленного в «Аргументы и факты»/.

«В 1870 году Правительство аннулировало привилегии, распустило опекунские конторы /самоуправление/, насильственно ввело во всех немецких общинных правлениях русский язык /…/ Эти меры вызвали переселенческое движение из Поволжья и Украины /…/ Значительное число колонистов эмигрировало в Америку…» /«Немцы». МСЭ-1, т.5, стр.704/.

«…И Вы, Ваше Императорское Величество, должны сами остановить исполнение Вашего решения. Оно одно, совершившись, опустошит многими десятилетиями рачительно обихоженные земли колонистов на Юге России. И на долгие годы бросит Империю в пучину голода…» /Из «Верноподданнического» письма первогильдийца Абеля Розенфельда. 8 декабря 1870 г./

«…Роковая для России ошибка Его Величества, отринувшего в затмении меннонитов–христиан от Империи нашей и тем лишившего государство Десницы его Хлебной, известна Вам…» / Из письма князя Александра Ивановича Барятинского, наместника на Кавказе, Великому князю Александру Николаевичу, будущему Императору Александру III. 12 января 1876 г./

«…После лишения Правительством немцев–меннонитов свободно пользоваться родным немецким языком из России в Америку, с 1874 по 1880гг. выехало 13913 колонистов с семьями…» /«Меннониты». Брокгауз. II/.

«…Лишенный Манифестом 1881 г. своих рабов российский помещик полагал собственное спасение в незамедлительном разорении или, лучше того, в изгнании с земель Государства своего преуспевающего конкурента — немецкого колониста. Именно под этим давлением Александр II — сам крупнейший в

мире землевладелец — скрепил Монаршею рукой один из наиболее разорительнейших для России документов /…/ Государство в одночасье потеряло крупнейшую в мире ниву твёрдых пшениц и мировое первенство хлебной торговли.» /К. А.Скальковский. «Е. И.Ламанский и Государственный Банк России». СПБ, 1881 г./

«…В 1874 г. в США переехали из России немцы–меннониты /…/ С собою они привезли семена озимой твёрдой пшеницы и через несколько лет канзасские прерии, засеянные этой пшеницей, сделались подлинной житницей страны, а в некоторые годы — и всего мира…» /«Сельское хозяйство США». Проспект национальной Выставки в Москве. 1979 г., стр. 10. Официальный документ Государственного Департамента США/.

«…В конце 70–х — начале 80–х гг. XIX века разражается аграрный кризис, явившийся в Российской Империи отголоском общеевропейского кризиса и связанный с вступлением на мировой хлебный рынок сильнейшего конкурента прежним поставщикам САСШ…» /«Российская Империя». МСЭ-1, т.7, стр.420/

«…Грандиозный голод вспыхнул в 1891 г., охватив 29 главным образом восточных и юго–восточных губерний. В 1892 г. голод повторился в центральных и юго–восточных губерниях, в 1897–98гг. — почти в тех же районах, в 1901 г. — в 17–ти губерниях центра, в 1905 г. — в 22 губерниях /…/. Последующие годы, 1906–08, протекают тоже как голодные. В 1911–12гг. голод вспыхнул с новой силой, охватив 20 губерний с голодающим населением свыше 30 миллионов человек. Голод сопровождался повальными эпидемиями тифа, цинги и огромной смертностью…» /«Голод». МСЭ-1, т. 2, стр.167/

Потеря Россиею первенства хлеботорговли и все сопутствующие разорению «немецкой нивы» несчастья вызваны были эмиграцией 14–ти тысяч колонистов. Теперь уезжал, по меньшей мере, миллион. Уезжал, страстно не желая бросать свою русскую родину. Он же знал, немецкий крестьянин, только в Казахстане выдававший стране «свой» миллиард пудов пшеницы, что земля в Германии ему не светит. Предки его уходили оттуда именно из–за земли, которая уже тысячелетие как до каждого вершка распределена меж её владельцами! Но новому советскому помещику — партийной верхушке — нужно было разорить немца. И он разорил… Россию.

Все дни работы конференции «Возрождения», где я, засвечивая себя, занят был делами наших немцев, около, пытаясь завязать со мною разговор, вертелся высокий сухощавый старец. На каком–то этапе своих попыток обратить на себя моё внимание

он всё же понял: общаться с ним в мои планы не входит. Тогда он сменил тактику. И, будто сквозь дрёму, пошел в лобовую атаку. Вот тут–то — дрёмою своей — он себя и выдал: я узнал его! Это был, как выражаются в подобных ситуациях, небезызвестный Разгон… Старый, прожженный, — пробы негде ставить, — провокатор, на которого мне показывали ещё в мальчишестве, как на участника всяческих грязных дел большевистской охранки, и, в частности, убийства Владимира Михайловича Бехтерева — маминого профессора времён учёбы её в Медико—Хирургической Академии в Петербурге, и Белы Уваровой — юной балетной дивы начала 30–х годов, любимой ученицы моей тётки Катерины Гельцер… Да ещё лекпом в зонах ГУЛАГа!

Что ему надо?

Меж тем, — происходило всё в туалете цоколя «Дома дружбы народов» /по Воздвиженке, 18/, — Разгон, с выражением дремоты на длинном белом лице, которую он и тогда, более полувека назад, умел наводить, и за которой так удачно нападалось ему — «сзади» и неожиданно, отловил меня у зеркала. Ухватил длинными цепкими пальцами пуговицу на пиджаке. Подтянулся вплотную и выпалил мне в лицо, обдавая гнилью:

— Вам, еврею /?!/, не должно быть дела до этих колбасников! Чего общего у вас с ними? Чего вы прётесь им в шестёрки? Забыли, что они с нами проделывали?!

— Стоп, уважаемый! Стоп! — Я показывал ему, что не знаю его…

— Чего «стоп!»! Решили, что срок давности их подонствам прошел? И можно пить с ними пивцо… на брудершафт? Так?! Еврей…

Не–ет, не ответить ему не могу: вокруг,, будто кто скомандовал, мигом собралась толпа любопытствующих. И из неё уже посверкивали вспышки блицев и высовывались, тычась в нас, коконы теле–микрофонов и глазища камер… Кому–то необходимо было развязать и зафиксировать скандал… Кому? Да понятно — кому, — хозяевам Разгона!… Хорошо же!

— Простите, уважаемый, но я действительно понятия не имею «что они — вот эти вот немцы- проделывали со мною…». Тем более, с вами. Но, что знаю точно, именно они — немцы эти — меня и вас, дорогой товарищ, — или как ещё вас называть, — вас и меня и всех вокруг сытно кормили вплоть до их депортации вашими хозяевами. И сейчас вот, сегодня, кормят от пуза своим «казахстанским» миллиардом пудов пшеницы ежегодно! И тем ещё, чем вы изволили попрекнуть «этих колбасников» — колбасою. Потому и пытаюсь по мере сил и возможностей отдавать им свои долги…

— Вы мне не тычьте «немецким миллиардом пудов»! За ним — шесть миллионов погубленных ими евреев! — прервал он меня истерическим криком. — Не вашей пшеницы — человеческих жизней!…

О! Дело своё он знал!… Интересно… Кругом стояли, окаменев, с серыми лицами безвинные жертвы разгонов… И молчали: их отучили говорить и отвечать на издевательства. А сам Разгон, — виновник всех их несчастий, шестёрка своих свёкров–бокиев, в своё время изгнанных из ПетроЧК за… зверства /!!!/, отравитель и убийца Лев Разгон, чернушник и гайер, — гневаться изволит, обвиняет их… А они… А они не могут гусиную шею ему свернуть… Похваляющемуся лагерным сексотством!

… Видимо, старость всё же штука поганая: её носитель порою перестаёт контролировать свои поступки: Разгон — ну совершеннейшая копия Паниковского, — Зиновия Гердта, — идущего в атаку на гуся — по–крабьи ковыльнул в мою сторону. И с криком: — Ты ещё у меня узнаешь!… Ты… Я в комиссии… В правительственной… Я могу с тобой знаешь что?!…

И «выпал в осадок», осев на пол…

Его подняли… И тут — я тоже хорош оказался — из меня вытекло:

— Ни хера ты уже не можешь… Комиссионер…

Сцена была отвратительной. И я в ней был безобразен… Мерзость!

А ведь мне ещё выступить предстояло с заключительным словом… А я вот так вот распустился… «Я» своё продемонстрировал перед своей потенциальной аудиторией… Мерзость. Мерзость…

Но и отступать нельзя! Дело не в одном подонке, хотя именно он — Разгон — всею жизнью, всею деятельностью своей нагрёб немалую кучу дерьма в гору нечистот, с головою накрывшей несчастное моё российское еврейство, которому теперь вовек не отмыться…

Дело в наших немцах, которых всё яростнее и остервенелее обвиняют в грехах их одноназванцев, чтобы не позволить им возвратиться из ссылки, вернуться на родину — на Волгу. И такие вот старые опытные провокаторы ведут за собою толпу ни в чём не желающих разбираться «патриотов»… И дело конечно же, в таких вот разгонах тоже. Это ведь они, затевая очередную вселенскую пакость, вызывают на голову нашего, далёкого от политической уголовщины, народа тех же гитлеров и сталиных…

Но воевать с ними здесь, в сортире «народной дружбы», я не стал, а перенёс «бой» в уже забитый до отказа зал, где не они были в большинстве. А сидели, молча ожидая моего слова, те, чьи

предки дважды — четыреста лет назад при Михаиле Романове, и двумя столетиями позднее Екатериною Великой и Светлейшим Потёмкиным Григорием Александровичем, — приглашены были в Россию, чтобы накормить её и обезопасить военными, из «немцев», поселениями на границах новоприобретенных южных земель…

Внимательно слушающим меня нашим немцам, которых разгоны лишили не только родины, но истории, я рассказал о их прошлом, — о годах их триумфа и их несчастий. Приоткрыл завесу над происшедшим с меннонитами в 1918–20–м годах на Украине… Но промолчал о том, что готовили им всё те же разгоны в 1944 году — им, и без того начисто обобранным Сталиным, ещё живым, ещё дышащим… И до сегодня кляну себя за трусость, за потворство собственным нашим кликушам–патриотам… Кляну за то, что не напомнил нашим немцам о 130 лет назад состоявшемся диалоге между генералом Алексеем Петровичем Ермоловым и императором Александром II. В неисчислимых поколениях русский человек, без надрывов гордившийся своим славянством, он с честью отвоевал французские кампании 1805–1816 годов, а позднее, в 1816–1827 годах, — главнокомандующим на мятежном Кавказе. И это — о нём, о Ермолове:

… И испытанный трудами
Бури боевой
Их ведёт, грозя очами,
Генерал седой…

Когда в массе российских губерний снова вспыхнули эпидемии холеры и чумы, он возглавил Правительственные комиссии по пресечению этого погубительного народного зла! И проявив, — кроме блестящих организаторских качеств, — истинно беспримерное личное мужество, — справился с постигшей Россию бедою. Но беда новая ещё более страшная нависла над страною: исподволь, в тиши департаментских кабинетов, в салонах помещичьих усадеб, раскиданных по губерниям державы, вкруг императора начала тайно готовиться разрушительная акция российского помещика против его главного конкурента — немецкого колониста! Алексей Петрович — государственник — последствия её видел ясно. И, пытаясь повлиять на ход событий, убеждал царя не только результатами своих инспекций помещичьих изнищавших, и колонистских процветающих, хозяйств, сопоставляя несопоставимые статистические выкладки. Но рассказами о поразительной организованности и невероятной самоотверженности колонистов при локализации смертоносных эпидемий…

Тронутый убеждённостью русского патриота, император прервал доклад Ермолова. Обнял его. Спросил:

— Чем тебя ещё наградить, мужественный старик? Ведь нет награды, которой не был ты удостоен!

— Присвойте мне звание немца, Ваше Величество, — ответил генерал…

… Да, не нашел я мужества сказать правду жертвам, и действовал по принятому в моей стране принципу: Ни слова об убитых! Это беспокоит убийц!

Главное, не рассказал нашим немцам, — более полусотни лет лишенным возможности возвратиться к себе домой, на свою землю, — как её — уже отобранную у них — вознамерились перехватить мои соплеменники! И не еврейский народ, сам пребывавший в коме после Европейского Погрома и начала травли дома у себя в СССР. Но группа мародёров из него, — я буду повторять это до своего конца, чтобы, быть может, еврейские матери научились не рожать таких выродков — истинных наших палачей… Обидно и больно, но ведь не кто–нибудь — известный поэт Перец Маркиш выступил с идеей «организации еврейского очага» на территории «бывшей республики немцев Поволжья». И полагал, «совесть» народная, что это явится «актом величайшей исторической справедливости»! Не верящим предлагаю прочесть в архиве Российского Центра хранения и изучения документов новейшей истории — РЦХИДНИ /до 1991 года Центральный партийный архив Института марксизма–ленинизма при ЦК КПСС/ материалы из фонда 17, оп.134, дело 693, л. 212–219, и Маркиш Э. «Столь долгое возвращение»… Тель—Авив, 1989, стр. 172…

Ничего удивительного потому не было в том, что после предложенного большим идишским литератором дела «величайшей исторической справедливости», идею ухватила еврейская «общественность». И на первой публичной встрече–лекции по Ближнему Востоку некоего З. Луцкого, состоявшейся 17 июля 1946 вот в этой же вот аудитории, атаковала его вопросами:

«Каково отношение официальных органов СССР к национальной проблеме еврейского народа в смысле территориальной национально–политической консолидации, подобно другим народам СССР?». И «… почему бы не устроить в противовес Палестине автономное еврейское образование в СССР?… Что, у нас земли мало? Например, Крымский полуостров, который два года тому назад был совершенно свободным, или бывшая республика немцев Поволжья» / РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 128, д. 1057, л. 18/.

Да, я им, нашим немцам, обо всём этом бреде не рассказал. И меня ничуть не оправдывает то обстоятельство, что они, — наши немцы, — узнали о замышленном Маркишем «акте величайшей исторической справедливости» тотчас по оглашении его автором восторженным и благодарным слушателям. Ведь кроме еврейского и немецкого анклавов, в СССР наличествовал тогда ещё и русский народ, с глубочайшим уважением и даже почитанием всегда относившийся к своим немецким россиянам. Он и донёс до них, через своих представителей, Благую Весть «величайшей справедливости».

А ведь более чем за два года до помянутой встречи–лекции, именно, 15 февраля 1944 года, Михоэлс, Фефер и Эпштейн, от имени Еврейского антифашистского комитета, просили Сталина «… создать еврейскую советскую социалистическую республику на территории Крыма…»; /пункт 1 резюме письма/. В нетерпении — долго не было ответа, — его вообще не было!, — это письмо продублировано было ещё одним — теперь уже в адрес Молотова от 21 февраля. /РЦХИДНИ, ф. 17, оп. 125, д. 246, л. 169–172; письмо от 15 февраля — Государственный архив Российской федерации, ф. 8114, оп. 1, д. 910, л. 34/…

Казалось бы, достаточно! Одних этих двух писем и откровений Маркиша хватило, чтобы всех нас накрыл с головою вал неистового юдофобства. И чтобы остервенившийся Сталин приказал срочно с нами разобраться. И только здоровый мужицкий инстинкт великого тактика Жукова, сообразившего, что его подставляют, сломал машину уже запущенную для «освобождения земли русской» от всех нас — «до седьмого колена».

Нет, оказалось, Перечисленного недостаточно было! И в тот же самый день — 15 февраля 1944 года — та же троица из ЕАК, родила, подписала и тоже отправила Молотову ещё одно слёзное совершенно послание с мольбою «…разместить /видимо, до окончательного решения вопроса? В. Д./ еврейскую советскую социалистическую республику /…/ на землях, высвобождающихся в результате проводящейся депортации на Восток контингентов врагов народа — чеченцев и ингушей…» Вот как можно–то, оказывается!

В этом поразительном по цинизму и саморазоблачительству документе, рождённом нелюдями в День Начала Разрушения Тысячелетнего Дома двух народов и их беспримерного разграбления, четыре абзаца из пяти посвящены не светлому будущему еврейства, но нефти, которая, вот теперь–то вот, и изольётся из земли, свободной от её… врагов!…

Как они попались на этом своём мародёрстве!

«… Сталин, остервенясь, письмо это топтал, прыгая по нему чёртом! Серый от непредсказуемости совершенно несвойственной хозяину кабинета реакции Молотов судорожно хватался за штору окна…» А потрясённый увиденным Ян Саулович Левитин…? Через тринадцать лет он признается: — Обосрался!…

Понять его можно: был он тогда первым секретарём Чечено—Ингушского обкома ВКП/б/. Письмо, в копии, пришло в пик «депортационной суеты, когда нужно было перегнать на Восток 448479 чечен и 387229 ингушей». Вместе с Молотовым их вызвал Верховный. «Могли сходу оказатьея в кабуловском застенке… Но спущенный нам приказ выполнили к 7 апреля…» И, вроде, ни тебе Нюрнбергской петли, ни осуждения ООН!

В начале 1957 года я заступал его директором Акташекого ГМК в Горном Алтае. Мы сошлись. Он, совершенно затравленный, уверясь во мне и показав письмо, сознался: чечены и ингуши всё узнали, и они с женой и другие участники «акции» /как похоже–то!/ вынуждены скрываться, меняя вот такие вот медвежьи углы… До 1959 года подросшие дети чечен и ингушей 1944 года нашли почти всех руководителей их автономии: Лейзеровича Моисея Яновича, Гильмана Льва Ароновича, Евзерихина Павла Петровича, Друскина Илью Ильича и обезглавили циркулярками. Участь авторов письма оказалась куда как терпимее. Но «Закон Возмездия» — всё равно Закон! Кто бы и как его ни исполнил…

… Не соображу никак: свистопляска верхушки Еврейского антифашистского комитета с провокационными письмами, — что это? Абсолютное и потому трагическое непонимание мира, в котором выпало ей функционировать? Гипертрофированная наглость вознесенных на «еврейский Олимп» и потому возомнивших себя вершителями судеб уголовников? Или элементарная бессовестность, помноженная на исторически присущий нашему племени хватательный рефлекс?

Не инфантильность же, чёрт возьми, классических лицедеев, пусть живущих в виртуальных пределах! Вспомнить лишь, что после бегства Грановского и последовавшей за тем вакханалии чисток и арестов в «культуре» и на Лубянке, перелопачивания «личных дел» на предмет поиска и ликвидации потенциальных невозвращенцев и их покровителей, а главное, генеральной санации руководства театрами, театральным руководителем ГОСЕТ'а поставили именно Михоэлса. «Павлова» — по оперативной кликухе. В январе 1933 года готовится арест Леся Курбаса — замечательного украинского режиссёра. Чтобы спрятать от его многочисленных почитателей и поклонников это печальное обстоятельство мастера сцены отвезли в Москву. И там загнали в «камеру предварительного заключения», поместив…

украинско–язычного художника не куда–нибудь во МХАТ, или в Малый театр, или в Художественный, а к Михоэлсу — «Павлову»!

А про его партнёров по ЕАК вообще нечего сказать — все сплошь оперативники… И с ними всё ясно: за чечевичную похлёбку завели, козлы, «опекаемый» ими несчастный народ свой на новую бойню…

Но Маркиш?!… Маркиш — это выше моего понимания!…

… Жизнь прожита. И что врубилось в мозг — никакими топорами того не вытесать. Потому вот уже тоже полстолетия — со времени тех писем, гложет осознание некоей чудовищной несправедливости Провидения Господня к многострадальному моему народу; несправедливости, выражающейся некими особыми качествами пастырей его — малых и больших…

А качества эти сравнить есть с чем…

Перенесёмся в 20 декабря 1937 года, — в день шестидесятилетия моего рано состарившегося опекуна — незабвенного Ивана Степановича Панкратова, спасшего меня, десятилетнего, из убойного взрослого таганского карцера. Кинули меня в его бетонную яму, схватив «в розыск» после побега из тюремного детдома… в Арктику — «спасать» пассажиров и команду раздавленного льдами в Восточно—Сибирском море парохода «Челюскин». Попович. Военный пилот–разведчик на Первой мировой и Гражданской войнах. Штабс–капитан и полный Георгиевский кавалер Русской армии, лично Николаем Вторым награждённый Золотым оружием «за храбрость». Полковник внутренней службы. Кавалер двух орденов «Ленина», почётный чекист. В 1926–1939 — член коллегии ОГПУ-НКВД. Полный инвалид: оказался в эпицентре газовой атаки рабоче–крестьянской красной армии против восставших в 1921 году крестьян и рабочих Тамбовщины. После госпиталей откомандирован, как специалист по двигателям, на автобазу в тот самый Варсонофьевский переулок в Москве. Три года возил командующего пограничными войсками республики Михаила Фриновского. Восемь лет исполнял обязанности главного механика теперь уже «Автокомбината», а по коду, «Объекта литер 1 НКВД». Уйдя в 1933 году на пенсию по инвалидности, работал механиком детдома на Новобасманной улице, 19, и стал моим вертухаем — сопровождал меня в художественное училище…

Вся вышеприведенная бодяга–анкета необходима для того, чтоб представить, какие «алмазы пламенные» и «палаты каменные» нажил Степаныч за свою геройскую при царе, и после, жизнь. А нажил он койку в семиместной комнате старого — на Малой Лубянке, 10, — чекистского общежития, где доживали свой век такие же старики–инвалиды. И тумбочку. Но не было её

— не помещалась. Потому завёл он под койкою сундучишко. И в нём, лично им глаженная после стирки в туалете, доживала распадавшаяся при прикосновении рухлядь — бельё, гимнастёрки с брюками, штатский костюм с орденами и пальтецо…

И вот — юбилей. Украшенный знамёнами и хвоей зал клуба на улице Дзержинского. Ломящиеся от яств столы. И мой, совершенно растерявшийся от шума и великолепия, «вертухай»… Поздравляет сам товарищ Ежов! Замы его почти что все! И друзья тоже. Подарки! К примеру, часы каминные дивной работы. О них на следующий день, когда Степанычев юбилей отмечали у тётки Катерины по Брюсову переулку, скажет прилетевший Григорий Маркович Ярон: Они тебе только забыли подарить камин с квартирой, чтобы было куда их поставить…

Оказалось — не забыли: в письме, что передали от отъехавшего в командировку Фриновского, говорилось Степанычу извинение, что случая не было, но теперь должен он немедля получить в хозотделе ордер на «комнату, с камином и балконом в сад в двухкомнатной квартире дома по Скатертному переулку»… Прочитали послание у тётки после торжества. Не спали ночь: шутка ли — комната! Утром, не предупредив своих, пошли. Чистый переулочек. Дом как новый. И балкон в сад на месте. Поднялись. Двойные высокие двери. По ним — золотые лилии. Ручки сверкают бронзовые… Взойти бы, но Степаныч молча уходит вниз по широкой, белого мрамора, лестнице…

— Ты что?! Почему не зашли?

— Печати видел?

— Не–ет… А-а… Да! Но ордер же! Их хозотдел снимет…

— Снимет, мальчишечка. Снимет. Да вот кто с нас с тобою подлость снимет, когда мы туда войдём, а квартирка–то ещё тёпленькая от тех, кого они оттуда вытащили… Жили мы с тобою без белых дверей — ещё проживём… Нехристи мы, что ли?… В писании–то что сказано: «… Распявши же Его делить одежды Его…»? Это не для нас, Беночка…

— Так ведь другие её — комнату — заберут!

— Пусть. А мы не возьмём — бросил жёстко, сильно сжав мою руку…

И пройдя с квартал, сказал мягко: — Мы же с тобою не мародёры! …

… 6–го октября, в субботу, в прямом эфире программы «Вечерний курьер» радиостанции «Юность» союзного радиовещания, в 23 часа, началось моё интервью Александру Кошелеву о сговоре двух каннибалов. В связи с недвусмысленным характером темы в студию приглашен был в качестве моего оппонента модный специалист по новейшей истории сотрудник

Гуверовского института при Стэнфордском Университете Фельштинский, находившийся в то время в Москве. Передача длилась 50 минут. Надежды Кошелева дипломатичный профессор оправдал полностью.

И вот, неизвестный мне «распорядитель» из ещё не разогнанных пока, посчитал наглым кощунством одно лишь подозрение в возможности только подумать о таком! Чтобы Сталин… и «этот…»!!! И скомандовал: — «Родинский» бред всенародно обсудить и всенародно же осудить! Распоясавшегося провокатора–антисоветчика пригвоздить к позорному столбу!

28 октября в программе «Монитор» телевидения Ленинграда /?/ состоялся «круглый стол». На нём пригвождать меня должны были наши историки и тот же Юрий Фельштинский. Он уже вернулся в США. Но его затребовали снова. Историки не явились. Американский же гость, сообразив, какую роль ему определили, все 55 минут обиженно промолчал. Пригвождения не вышло. Меня немедленно пригласили на «собеседование». На него я не явился. Тогда за мной приехали с Новой площади. Отказаться? Причин не было. Кроме того — интересно, что в ЦК затевают? Меня очень радушно и тепло встретили. Напоили кофе. И весьма настойчиво потребовали «прямых доказательств». — Но они хранятся в политуправлении армии. — Тогда мы их найдём. — Найдёте… Если уже не нашли. — Как можно так о нас думать?! — Можно! Не без вашей инициативы рассыпан набор «Комплота». Не сомневаюсь: рукопись книги вы прочли, — по глазам вижу… — Прочли, — сознались. — Но одно дело рукопись на столе, другое — эфир на Божий мир! — Больше вопросов ко мне нет? — Нет. Спасибо! — Ради Бога!…

«Беседа» длилась 15 минут. С кофе. Зачем приглашали? Затем, чтобы поглазеть вживую на автора скандального рассказа? И только?… В конце концов, какое дело им было, отпрыскам обитателей партийного Олимпа, до таких вот историй с какими–то давным–давно истлевшими фюрерами? Им, которые не оборачиваясь назад уже скогтили застолблённое их дедушками, или папами бездонное корыто с несметными богатствами Государства Российского? Им, которые уже вовсю выгребают его содержимое? Им, которые уже оседлали Империю? До историй ли им с географией?

От озверевших СМИ меня защищало право «Родины» на мой рассказ. Но пресс–атташату ФРГ журнал отказать не мог. С немцами встретились мы в их квартире на Кутузовском проспекте. Пауль Н. Н. был непреклонен в неприятии моей версии:

— Где–то, я тоже мог бы фантазировать на тему о

гипотетической встрече двух деятелей, — сказал он. — Совпадение системы инфраструктур достижения целей. Общность методов… Но я — лицо официальное. Подчинённое. Зависимое. А потому своим мнением размахивать не могу… Вот, смотрите, — он театральным жестом указал на полки. — Три сотни книг здесь — о Гитлере. Не апологетика. Нет! Жизнеописание исторического лица. А апологеты ещё придут. Уверяю вас. Они явятся, когда придёт время… Так вот, здесь только факты. Здесь собрано всё, что связано с жизнью и деятельностью фюрера. Всё абсолютно! От его детского дневника до… рецептов пургена, — у него были проблемы со стулом… Но ни одного слова, ни одного факта, которые дали бы историку повод усомниться в непричастности канцлера к непристойнейшим в его глазах предположениям о чём–то подобном этим вашим встречам. Нет ни одного намёка на их подготовку. Ни одного намёка на их планирование. Ни одного намёка на мысль, что они могли иметь место… Ни–че–го!

По должности я вынужден откликнуться на ваше выступление. Его безусловно ожидают в Германии. И его ждут повсюду в мире: «Что скажут немцы?» Ждёт и мой боннский шеф, автор доброй половины этих вот исследований. Зубы съевший на истории Гитлера. Вот ему–то, — что ему я отвечу? Опровергну его на основании вашего рассказа? Несерьёзно. Рассказ — не документ. Он ничего никому не доказывает. Я знаю историю вашей монографии о комплоте — в своё время ваши чиновники запрашивали моё ведомство. Но тогда, двадцать лет назад, я был лишь экспертом. И ничто не мешало мне высказывать собственное мнение. Его я и сообщил в Москву. Между прочим, без экивоков, которыми наполнена рецензия господина Дашичева, опубликованная в том же издании, что и ваш рассказ. Теперь могу констатировать — рассказ ваш только лишь рассказ. Не более того. И его не следует путать с фактами, которых нет. Нельзя же ссылаться на свидетельства — пусть даже нотаризованные — в вашей рукописи. Тем более, что она арестована. И вот уже 22 года как похоронена в архивах.

Я чувствовал, как не интересен ему со всеми своими дурацкими «раскрытиями», совершенно не нужными ему — графу фон Н. Н., апологету раз и навсегда определённой официальной версии. Он же рекомендует мне ждать, при желании, искомых мною фактов, которые — будем надеяться, — сказал, улыбаясь, — никогда не всплывут из небытия.

— Я не поклонник фюрера. Не почитатель его памяти. Но… Слишком несопоставимы фигуры вами сведённых лиц. Сама мысль о их возможной встрече — нелепица! Гитлер никогда бы на неё не пошел!

/Так ведь и Горбачёв тоже сказал, лапушка, только про нашего!/… Смеётся надо мною, этот фраер лощёный — граф Пауль фон Н. Н.! Кто для него я? Технарь, пусть небезызвестный. Обнаглевший дурак, оглоед; в деликатнейшей материи, какой является историческая фактология, хулиганствующий профан, пытающийся нахрапом прорваться в её святая святых… Действительно… В эту чреватую историю влез я, как кур в ощип. Поделом мне выслушивать теперь уничижительные сентенции от этого чистоплюя–сноба, который позволяет себе отбеливать в моём присутствии своего чёрного кобеля и лапшу развешивать о «непочтении» Гитлера.

«Не было никакой встречи!» — стояла в моих ушах его прощальная фраза. «Не-е бы–ло!«… Прав он, конечно. Немец он. Ему, немцу, чтобы документ! Аусвайс! В котором чтобы чёрным по белому. Открытым текстом… Напрасно обижаюсь…

Я пребывал не в самом радужном настроении, когда он проводил меня к остановке такси. Такси, конечно, не было. Был хвост человек в двадцать. Ещё была ночь с 10–го на 11–е ноября — холодная, промозглая и моросная ночь, настроения не поднимавшая. Он попрощался. Понимал, дипломат, что мне ещё долго не уехать. Но подвезти не предложил — машина–то у него была,. — пресс–атташе всё же… Конечно, что ему со мною церемониться, с битым…

Время приближалось к утру. И я пошел пешечком. Когда часа через полтора, или два, я подошел к дому, уже были открыты киоски «Союзпечати». Я взял несколько газет. Поднялся к себе. Нина спала. Я отмылся под душем от грязи, излитой на меня на Кутузовском. Приготовил кофе. И стал просматривать газеты. На одной из последних страниц «Комсомольской правды», в рубрике «Из досье ФБР», я наткнулся на статью доктора исторических наук Д. Наджафова, известного специалиста по военной разведке. Называлась она «Искренне Ваш Дж. Эдгар Гувер… ". За ранним временем и приятной усталостью из–за доброй прогулки, я, было, перевернул страницу. Но меня задержала фотография какого–то документа, вмонтированного в текст статьи. И я стал его читать, почему–то ничуть не удивляясь и не волнуясь:

«Федеральное бюро расследований.
Министерство юстиции Соединённых Штатов.
Вашингтон, округ Колумбия. 19–е июля 1940 г.
Лично и конфиденциально.
Уважаемому Адольфу А. Берлу–младшему,
помощнику Государственного секретаря.
Дорогой мистер Берл.
По только что поступившей из конфиденциального источника

информации, после немецкого и русского вторжения в Польшу и её раздела, Гитлер и Сталин тайно встретились во Львове 17 октября 1939 г. Полагают, что правительства других стран всё ещё находятся в неведении относительно этой встречи. На этих тайных переговорах Гитлер и Сталин, как сообщают, подписали военное соглашение взамен исчерпавшего себя пакта о ненападении. Сообщают также, что 28 октября 1939 г. Сталин сделал доклад членам Политического бюро Коммунистической партии Советского Союза, информировав семерых членов упомянутого бюро о подробностях своих переговоров с Гитлером.

Я полагаю, что эти сведения представляют интерес для Вас.

Искренне Ваш

Дж. Эдгар Гувер».

… Многолетняя тяжесть, вошедшая в меня майской ночью 1951 года, когда уходил я от несчастного Рейнгардта Майера—Копыльникова после предсмертной исповеди его в больничке Мостового отделения ОЗЕРЛАГа в Братске, спала, наконец, с моих плеч. Изверглась из всего моего существа. Человечество узнало долго скрываемую от него правду: два самых кровавых маньяка в истории планеты встречались и сговаривались! И правдой оказались откровения и Рейнгардта Майера, рассказавшего мне о встрече тиранов в 1931 году, и Леонида Александровича Скоблинского — об их встречах в 1929, 1930, в том же 1931, в 1932, 1937, наконец, в упомянутом Гувером 1939 годах. А первым, кто осмелился, кто решился сказать об этом во всеуслышание, оказался я! И я засмеялся… Потому что никакие пресс–атташе смеяться уже не посмеют. А буду смеяться я, перелистывая Пушкинского «Графа Нулина»:

«… Когда коляска ускакала,
Жена всё мужу рассказала.
И подвиг графа моего
Всему соседству описала.
Но кто же более всего
С Натальей Павловной смеялся?
Не угадать вам. — Почему ж?
Муж! — Как не так. Совсем не муж.
Он очень этим оскорблялся,
Он говорил, что граф — дурак,
Молокосос; что если так,
То графа он визжать заставит,
Что псами он его затравит»
Смеялся…»

Смеялся я. Я смеялся, искренне полагая, что хорошо смеётся тот, кто смеётся последним. Тем, кто в победительной эйфории

не пребывал, было не до смеха. Долматову Володе, например, и моему сыну, понимавшим: своим свидетельством на многомиллионную аудиторию я вскрыл тщательно охраняемую тайну двух режимов–близнецов — тайну их преступного сговора.

Да, их кровавая харизма в разное время пошатнулась чуть–чуть. Но набирает силу, захватывая души молодого поколения её немецких и российских последователей. Разоблачение их кумиров может дорого обойтись. В конце концов, они могут даже разрушить само дело моей жизни — моё «Спасение», — общество, созданное мамой — армейским хирургом — ради спасения спасителей, — несчастных фронтовых медиков, брошенных в 1917 году развалившейся Русской Армией, а позже — множества других.

А дед всё порывался и порывался разоблачать преступление на Волге! Масла в огонь его разоблачительного пароксизма подлило ещё одно моё выступление — реплика на Учредительном Съезде Конфедерации репрессированных народов, состоявшемся 28 ноября в аудитории Политехнического музея. Мы с ним сперва слушали доклады тех. кто чудом избежал смерти, когда их угоняли с родины на вымирание и погибель. Среди выступивших были и те, кто уже родился в Сибири и Казахстане с клеймом ссыльного. И в их числе мои друзья–сподвижники по «Спасению» Герман Виллевальде, Саид Бахарчиев — мой бывший аспирант, его племянник Шамиль Басаев, Пауль Ридер — герой «СТЕПЛАГА», и Руслан Аушев, Гуго Дюн, Джахар Мадаев и Володя Вормсбехер — предводитель восстания на Шикотане. Только недавно прошел семинар руководителей отделения общества. На нём, на случай провала, в очередной раз оговаривалась схема их оперативной замены. Делалось это систематически не реже одного раза в полтора года, хотя на протяжении 72–х лет работы «Спасения» срывов не случалось. И вот теперь, по «73» мандату от ВОСН, после Вормсбехера, выступить поручалось мне. И я сказал жмурившейся в президиуме «тени» председателя союзного КГБ всё, что считал нужным. Если быть до конца откровенным, то и выступил–то я именно потому, что в президиуме «тень» эта сидела.

И пусть запустится в меня булыжник, — не мне было не знать, что передо мною находился и слушал меня человек, совершенно отличный от всех своих предшественников на этом посту. Хотя, конечно же, это был ставленник Андропова, перенявший от своего благодетеля «концепцию заговоров», а потому искренне верящий, что любые изменения в стране есть результат «спланированных мероприятий враждебных сил». Естественно, убеждённость в коварстве этих самых сил возникла

не на пустом месте, а в результате… собственной коварности. Ведь и сам Крючков с 1956 года возглавлял «самое–самое» подразделение КГБ — его секретариат. А с 1974 года, когда мы познакомились на внезапном отдыхе, — ПГУ /Первое Главное управление/ - внешнеполитическую разведку. Но именно он — и никто другой из ведомства, которое обязано было, в первую очередь, заниматься государственной безопасностью, безопасностью своих граждан, а не безопасностью группы политуголовников от ненависти населения, Крючков первым разглядел через деятельность банды Гдляна и Иванова кабанье рыло преступного мира, начавшего атаку политической и экономической власти и бее того раздираемой на части страны.

И, — отдадим ему должное, — развернул в 1989 году аппарат КГБ против организованной преступности. Но чтобы сделать самый решительный шаг, ему не хватило малого — освободиться от опутавших и его — «самого первого кагебешника!» — тягомотных партийных догм. Он всё бился в попытках найти «центр антигосударственной деятельности». А его не было! Его «заменяли» громадные суммы преступных капиталов, добытых и с помощью вот таких же вот «Бакинских этапов». Если бы Крючков послушал собственных своих оперативных работников! Если бы — не вполуха, как то было на тех же рыбалках, — всерьёз хоть однажды выслушал меня с моими «анекдотами!!!» о "'геологическом» бандитизме и о том же «Хлебном деле» господина Мир Джафар Багирова! Да если бы он глазом государственника и экономиста /а он — и экономист, и государственник!/ взглянул на проблему — он и сам всё бы понял. Понял бы, что эта организованная преступность — не вдруг возникшее и потому еще пока «временное» явление. Что взращивалась она на протяжении всех лет, начиная с 1917 года. Что сама Чрезвычайка /!/, почти до краёв заполненная сбежавшимися для вселенского грабежа уголовниками со всего Юго—Запада развалившейся Российской империи, стала разобщённый преступный мир организовывать в… областные и республиканские банды. А затем, «в угоду партийным интересам /!/, как бы самоустранилась — задолго до ухода Сталина — от контроля над ними»… Одни, значит, банды, перестали, наконец, расстреливать другие.

Результатом атаки Крючкова на преступный мир — во всех его ипостасях — явился откат большинства кланов на изначальные позиции. И тут же — новый бросок к власти, — через национальные конфликты и развязывамые ими «локальные» войны! Вовсе не само «нерешение национальных чаяний» тех самых репрессированных народов собрало всех нас на

Учредительный Съезд. Хотя, естественно, и это: народам не позволяют начать нормальную жизнь на своей родине. А то, что кавказские, крымский и немецкий народы начинают использовать в качестве мины под уже и без того разваливающуюся государственность империи. Фитиль ненависти подведен под страну, что никогда домом их и не была. А была проклятою мачехой многих десятков миллионов сосланных, расстрелянных, замученных, утопленных ею своих граждан. И чужих тоже. Но для того, чтобы всё это непотребство осуществилось, — чтобы банды переделили власть и богатства России, — для этого в жертву снова приносятся и русский народ, и уже не раз, а некоторые и не по второму разу, битые, истязаемые, унижаемые и ещё не до конца истреблённые «малые» народы. И первыми — кавказцы. Мои кавказцы. Допустить такое было бы преступлением!

Потому я, получив слово по своему «133–у» мандату Ш-й Чрезвычайной Конференции «Возрождения», сказал Крючковской «тени»: Вскорости мы будем, ввергнуты в кровопролитнейшие войны с «малыми» народами страны, которых геноцидом над ними вы заставили люто и остервенело ненавидеть и само государство, и всех вас, вместе взятых. Вместо того, чтобы всею мощью вашего гигантского — и, я пытаюсь верить, — некоррумпированного пока — аппарата наладить порушенную вашими предшественниками жизнь миллионов граждан из так называемых национальных меньшинств, вы продолжаете ломать и без того страшные их судьбы. А иначе и не назвать ваше преступное беззаконие, когда даже после вырванных у вас реабилитационных постановлений вы не позволяете народам /!/ возвратиться на родину, не отдаёте им отнятые вами их земли, дома, имущество и достойную жизнь. Главное: вы не пытаетесь остановить преступников, которые используют бедственное положение малых народов и гнев их отчаяния!

Нагнетаемое, получается, не без вашего КГБ межэтническое напряжение разрешится большой кровью, приведёт к отторжению от страны большинства национальных образований, как это случилось 11–го марта с Литвой, обязательно закончившись развалом Советского Союза! Неужели вы на Лубянке этого не понимаете? Вы же не душка-Горбачёв, хотя и он уже догадался, что «процесс пошел!«… Ведь целостность и безопасность страны — не «Внутренняя тюрьма» и «Граница на замке!», а спокойная, обеспеченная и счастливая судьба его простых граждан, Крючков! И это не Апокалипсисы. Это краткий перечень событий, которые обязательно произойдут, если вы немедленно не разрубите вами же завязанный и затянутый узел национальных проблем. И вы не хуже моего осведомлены, какая угроза маячит над людьми: ведь

же и ваш «крючок», господин Крючков, стоит под постановлением об утверждении «Некоего Документа», в просторечьи именовавшегося «Атласом Целей», вновь, якобы, пересчитанным в 1988 г. «Атласа ядерных целей» с перечнем «факторов», ради «незамедлительного разрешения» которых этот людоедский документ создавался и уточнялся нашим пересчётом. Есть ваша виза и на соответствующих приказах 1971–го. А они требуют неукоснительно следовать расчётным параметрам этих самых «Атласов целей». А в них помимо глобальных, планетарных масштабов «факторов», проигрываются и «случаи» «малых внутренних конфликтов», когда дьявольское «оружие возмездия» /!/ должно использоваться для поражения целей в пределах государственных границ…

Классическая реакция скорпиона, загнавшего себя в ловушку!… Подумать только: ядерные боеголовки взрываются над… деревней водок под Петербургом! Или над цыганским табором в центре Бендер! Или над Армянским представительством в Армянском переулке столицы нашей многонациональной державы! Или над любым другим избранным субъектом Дружбы Народов! У нас, господин Крючков, всё возможно. /Аудиостенограмма. № 26.2/

… Итак, Иван Павлович Алексахин решился возвратиться к «Бакинскому этапу». Он хорошо понимал, что «Этап» — не встречи давно покойных фюреров, никого уже не интересующих, кроме специалистов и апологетов, хотя последние уже сменили гнилые зубы на свежие клыки. «Этап» — это семейный секрет бандитских кланов, наверняка давно уже прорвавшихся во власть. И вот им–то вот — наши разоблачения ни к чему!

Последним толчком, подвигшим Алексахина к действию, явился приём, организованный руководством КГБ для устроителей этого самого Учредительного Съезда. Торжество проходило в том самом клубном помещении на Большой Лубянской улице, где мы когда–то отмечали 60–и летие моего незабвенного опекуна Степаныча. Потому даже я подпал под ностальгическое обаяние памятного мне места. Что уж говорить о чувствах Алексахина!

Ужин волков и баранов прошел, в общем и целом, без эксцессов, если не считать что с тамадою его не получилось: северо–казказцы паясничать отказались и бокалов «за чего–то там» не пригубливали. А говорили лишь хозяева–вегетарьянцы… Но всё равно, Иван Павлович, политик с человеческим лицом, и тому был рад, что «сам факт встречи всё же имел место». Много ли надо старику? Немного… И, не известив меня, — получилось, будто, за моей спиной, — он сговорился с Сашей Кошелевым. И

тот, полагая, что Алексахин все со мною согласовал, с радостью и с понятным волнением безусловно порядочного человека, включил рассказ о «Бакинском этапе» в программу передач новой радиовещательной станции «Россия». И именно в первый день выхода её в эфир — 10–го декабря…

Итак, сбывались наши с Иваном Павловичем надежды: через неделю — моё первое сообщение в эфире о «Бакинском этапе», чудовищном даже для «Государства ГУЛАГ» событии на Волге. Оно анонсировалось как «Этап из Баку», и планировалось как рассказ о пропавших без вести солдатах войны. Тогда страну начали трясти сообщения об обнаружении добровольными следопытами на местах былых сражений в Западных областях бесчисленных свалок солдатских останков, которых доблестная и непобедимая армия — за «делами» — «забыла» похоронить…

* * *

… Меня тревожит молчание Алексахина: с конца ноября не отвечают домашний и дачный телефоны. Меж тем, за два дня до передачи эфир «ужимают», я сопротивляюсь — не хочу комкать такое /!/ свидетельство! Но редакторы настаивают — время эфира строго регламентировано.

В 5.00 пополудни 30–го ноября мне ещё раз позвонили: воркующий женский голос, обворожительно грассируя, с милым укором предупредил, что все жданки пГошли, и просил меня сГочно пГибыть к Ивану Павловичу на дачу, чтобы окончательно согласовать текст. — Но, почему же он раньше меня не предупредил? Почему сам раньше не позвонил? Проспал?! — Ха! Ха! Ха! Вы, доГогой автоГ, витаете аж в безвоздушном простГанстве! Геалий жизни не чувствуете: зима началась! Значит, и Гемонт теплосетей. Ясно? Нет? Не слышали, с чего начинается Гемонт? С их вскГы–ытия экскаваатоГами! А они имеют обыкновение «наГушать» телефонные и пГочие кабели… Пожалуйста, потоГопитесь. На двоГе уже темно, а вам ещё электГичкой… Я его соседка по даче. СобГалась в Москву. Он и попГосил звякнуть. Чао!

Делать нечего, надо ехать, сорвав встречу, которую Саид Эскиевич Бахарчиев устраивает сегодня в ресторане «Под шарами». Нам надо поговорить с Дудаевым, — тоже родичем Саида, и с Шамилем Басаевым, уезжающими — один к месту службы, другой домой, в Чечню. И Саид, мой бывший аспирант, «сидит» на телефоне: боится, как бы не сорвалось прощание. И оно срывается: сообщаю Саиду о срочной поездке к Алексахину. Переодеваюсь в лыжный костюм…

* * *

Резкий, громкий, торжествующий звонок!… Открываю… На

площадке лестницы толпа — иначе не назовешь сборище людей, улыбающихся мне… Нацеленные в моё лицо объективы телекамер… Ослепляющий свет направленных на меня съёмочных юпитеров… Блеск блицев фотокамер… Муфты упёртых в меня микрофонов…

Японцы? Все — японцы?… Но почему?!… Ничего не могу понять…

— Здравствуйте! — говорит мне молодой, с седой шевелюрой, атлет. — Здравствуйте! Конничива-а!… Мы вас нашли, дорогой Додин–сан! Нашли!

… В гостиной столпотворение. Сидят на диване, в креслах, на стульях, на ковре. Кто не успел сесть — стоят… Гомон! Смех! Вопросы! Большинство хорошо говорит по–русски. Дипломаты, репортёры, учёные–слависты?.. Раскрывают торжественно кейсы. Достают и развёртывают газеты… Я вглядываюсь… Что это? В небольшой статье — фотографии… И на одной… Так это же Тацуро Катакура! Мой лагерный товарищ! Мой подопечный зэк! Бывший офицер разведки, а в Братске — в конце сороковых, в начале пятидесятых — зэк! Доходяга! Жмурик! И интеллигент из интеллигентов! Холодный философ, которого вытащил я с того света! Вытащил кровью своей и своей баландой… И вот же он! Старик совсем!

Кто–то тычет в газетные тексты, в фотографии.

— Вот газета «Шинкей шимвун»! Моя газета… Дорогой Доэзин–сан, сегодня, 30 ноября, она сообщит всей Японии о Вашем подвиге! Мы получили её факсом — и вот — примчались! Прибежали поздравить с… нахождением! Ваши друзья в Токио перевели заголовки — вот переводы: «Дверь которая была закрыта 40 лет!«… И «Поговорим, Додин!«…

Гости пробыли недолго — торопились: нас с Ниной Оттовной и детьми ожидал «его превосходительство» посол «Их Императорских величеств». Ожидали сотрудники японского посольства для «совершения торжественной церемонии приёма». Ожидал поздний ужин–банкет… Но мне необходимо с Алексахиным встретиться! Он же ждёт!…

— Нет–нет! Не можно!.. К другу Вы ещё успеете! Успеете!

Действительно — успею… И — не японцы — точно бы успел…

Рано утром у Алексахина проклюнулся телефон. Но трубку никто не поднимает. Беда! Видно, или спит крепко /за ним такое числится/, или, не дождавшись, уехал домой?

Позвонил сыну. Извинился за отсутствие на именинном торжестве. Рассказал о событиях ночи на посольской даче. Позвонил Саиду — объяснил причину срыва встречи с его

родичами в «Арагви». Решили отдохнуть.

Только легли — звонок! Беру трубку… Брат Ивана Павловича… Отчаянный крик его… Пытаюсь дознаться: — что случилось!? Ничего не могу понять… И после мучительной паузы снова его стон:

— Вениамин Залманович!… Венечка!… Они Ивана убили!

… Вечером 30–го какая–то дама срочно вызвала его на дачу… Соседка, якобы… Что–то там случилось… Он поехал… А утром… сегодня… его нашли… Нашли… Господи, Боже мой! Нашли… метрах в трехстах от конца платформы… всего… всего искромсанного поездом… Что же это такое, Вениамин Залманович?!!! Восьмидесятидвухлетний хромой инвалид!… Пустячное расстояние по расчищенной дорожке от вагона до дачи было для него казнью египетской… Как же можно верить, что брат смог, будто бы, преодолеть немыслимый для него трёхсотметровый путь — да по сугробам — и очутиться ещё на насыпи, между рельсами?!… А вы?… Поберегите себя, Бен!

В Главном управлении милиции сообщили: прошедшей ночью, на перегоне Шилово — Рязань, найден разрезанный поездом труп Ивана Парнышкова — главного свидетеля обвинения 1956 года… Кто–то вызвал его срочно в Москву для участия в передаче. Телеграмма оказалась в пистончике брюк. По ней милиция и опознала его, и по телеграмме же известила радио. Всё остальное убийцы забрали — имитировали ограбление…

Как мы узнали позднее, в ту же ночь исчезли ещё шестеро свидетелей волжской трагедии. Остались ли они живы? Я не знаю. Знаю только, что меня спасло нежданное явление японцев. Сорокалетие назад спасал их я и мои товарищи. Теперь они спасли меня. Вроде бы закономерно. Но удивительно: чтобы вот так вот… В последний миг явиться и спасти! Ведь ещё минута–другая, и мы бы разминулись. Я уехал бы на дачу к Ивану Павловичу… И успел бы… вслед за ним… Так как же всё это следует понимать? Как Перст Божий, в меня обращенный?! И это означает тогда, что делаю угодное Ему? И Он…?!!!

Взваливать ещё что–то на Всевышнего я не стал. Поехал в посольство. Посол пригласил шефа службы безопасности. Одно понял из кратенького их разговора: отныне спецслужба «Их Величеств» постоянно будет рядом с моими близкими и нас одних не оставит.

— Японский народ вас, Додин–сан, охранит. Вы нам дорогой человек… Самый дорогой!

Вечером 11–го декабря было решено: передаче о «Бакинском этапе» быть. Но готовили её теперь по–тихому, втайне даже от

сотрудников! И 21–го декабря с 16.00 московского времени радиостанция «Россия», под Реквием Моцарта, начала передачу моего полуторачасового рассказа–свидетельства. Снова, — и в который–то раз, — страшные видения на Волге проплывали перед моим уже давно привыкшим видеть увиденное тогда «мысленным взором». Снова и снова переживал я все те же чувства, которые обрушились на меня в ту первую ночь у красно–глинского берега…

И в который раз за прошедшие с того часа годы подумал, — внезапно уставая смертельно: да кому нужно оно — свидетельство моё — сегодня, сейчас, во дни крушения непутёвой империи, спустя более полувека с того мгновения, когда раскрылись люки танкеров и мы впервые увидели их содержимое?! Кому нужен мой рассказ, сорокалетие пролежавший под спудом ущемлённой обстоятельствами бедной памяти моей, а потом в письменном столе? Его герои истлели. Растворились в волжских водах. Слились в Каспий. Воспарились туманами. И уже давно, — и не раз, — излились обратно на Землю жизненосными дождями…

И что вообще для человечества эти «какие–то» 110 тысяч душ, порастерявшего по войнам, эпидемиям, голодоморам, раскулачке, депортациям, лагерным экзекуциям и автомобильным катастрофам бесчисленные сотни миллионов своих злосчастных детей?

Смерть — невообразимо мучительная — настигла моих героев более полувека назад. Значит, давным–давно исчезли их родители, что взрастили их, любили, помнили до последнего своего часа. Давно ушли их братья и сестры, что росли с ними, тоже любили, и ждали с войны. Наверно, ушли, не дождавшись, их старшие дети, надеясь до смерти своей, что дождутся они тех отцов. И давно, — исстрадавшись, обретая и теряя надежду, — ушли раздавленные ожиданием их жены и невесты…

Что и требовалось всем тем, кто этапы эти задумывал, гнал и… списывал. Всем тем, кто после смерти тирана под любыми предлогами оттягивал раскрытие преступлений большевистского режима, — сперва нагло и с рыком, потом под видом предотвращения гражданской войны, наконец,… за давностью той эпохи! И в видах грядущего примирения. Уже неизвестно кого с кем.

Значит, — всё, что мы сделали теперь, и из–за чего погибли Алексахин и Парнышков, — всё это зря? Да ничего это не значит! Теперь, как и всегда, значит для меня только оценка моих действий мамой, давшей мне жизнь и указавшей скромную цель, которой следую вот уже 45 лет и которой живу. Но на всё

наложилось событие «30–го ноября» — Вспыхнувший Куст! Купина Неопалимая!

Потому всё то, что мы затеяли и осуществили, это ответ палачам! А что ответ этот был необходим, что он был обязателен, — знаком этого, Знамением, было Явление Его в японцах! Только так. Только так.

Купина Неопалимая!

… Лишь спустя месяц, провожая меня, Кошелев спохватился: передача–то о «Бакинском этапе», — она же 21–го декабря прошла! В день тезо–именитства! В сталинский день рождения. Надо же так! Значит, — с рожденьицем, дорогой Иосиф Виссарионович! Знаю, знаю: вины твоей в «Этапе» нет. Прямой вины. Не сомневаюсь: узнай ты о ней — ты бы и без раппопортов разобрался во всём. И в дополнение к прокурорским крестникам свои пули «в загривок» получили бы и булганины с багировыми — никого бы ты не пощадил из ослушников!

Но, согласись, и твоей вины в этом грязном деле хватает. Главная — немца–то в Сталинград ты привёл, задумав обмануть его и на его плечах, по–кавалерийски, ворваться в Европу. Ещё одна вина: беспредел в стране создал ты. А потому твои подручные, которые и без того владели всем, да и самой страной впридачу, не задумываясь, обратили 110 тысяч живых людей в стоимость «доставки» 673–х вагонов муки, «подвозки» 8977–и автомашин хлеба, «аренды» складов под ту же муку и рыбу. В «цену» инфраструктуры этапа. И в итоге, в 4 миллиарда 731 миллион рублей общей суммы ограбления народа в самый голодный год голодного военного времени. Это — без кавычек!

Вот теперь бы и поставить долгожданную точку в «деле» о преступлении 1943 года на Волге. Будто всё необходимое сказано. Ан нет. Не всё.

Лишь только в эфире отзвучала плёнка с моим «именинным» рассказом, тут же за мною прискакали. Странные, надо сказать, скакалыщики — «стеснительные» какие–то. И то — с 16.00 московского времени 21–го декабря у моего дома уже дежурили ребята «от супруги Мессии», — из тех самых её витязей «ожившего народа». А в ходе передачи здесь же оказались и парни из «русского полувоенного формирования». Не сейчас распространяться о моих чувствах в связи с тогдашней активностью патриотических организаций. Замечу лишь, что понятие «патриотизм» никогда не вызывало во мне каких–либо отрицательных эмоций: каждый народ выстрадал своё законное право на самозащиту. И чаще — «великий» и даже «могучий» народ. А формы её, её проявления, — они те, что сложились. Не более того. Другое дело, что в любой России /и не в России тоже/

они оказывались под жестким контролем всякой власти, если изначально ею не инспирировались.

В этой связи забавный разговор произошел между сестрой Нины Оттовны Леной Адлерберг и мною, когда от Андрея, — сына уже покойного друга моего ещё по ГУЛАГУ Кирилла Николаевича Голицына, — узнал по секрету о возможном возобновлении института русского дворянства. Отъерничавши, спросил в шутку у Елены Владимировны: не собирается ли и она тоже возродиться в этом некогда весьма почтенном качестве? Спросил, помня резкую отповедь Нины на тот же мой вопрос.

Елена шутку не приняла:

— Ты в своём уме?! Тебе разъяснить, кто стоит за всеми этими дворянскими «Виедербелебт'ами»? За ними, Бен, не просто торчат, а давным–давно, — с 1918 года, — разрослись уши Главных управлений всех этих порождений — от ВЧК до КГБ! Неужто ты — опытный зэк со стажем — полагаешь, что я выдумываю? Наши хозяева не просто не оставляют без надзора и патронажа даже самые плюгавые и малочисленные национальные проявления в своём многонациональном борделе. Они скрупулёзно переорганизовывают или организуют всё новые и новые «сообщества» из националов. Тем более, когда по природной склочности народишка и его неумению выслушивать самого себя, сам он не только не в состоянии осознанно сорганизоваться в мало–мальски прочную группу, но даже выделить из своей среды умного провокатора или мошенника — представителя! И если ваши спецслужбы организуют бесчисленные Раттенгифтлихе Гезельшафтен из всяческого сброда, от «диссидентов» до «сионистов», чтобы с их помощью, как на липучку, ловить сонмы крутящихся вокруг болванов, то уж русских–то орёликов они сорганизуют в лучшем виде. Ваши — смотаются за бугор. Им дорога туда. Им делать здесь нечего. И если их придерживают в так называемых «отказах», то только чтобы поднатаскать материал для очередных шпионских операций. А нам, русским, здесь жить! Потому контроль — прежде всего над нами. Только! И все эти «дворянские собрания» — отделы этого контроля. И ничто иное. Мне ли этого не знать после стольких лет работы в центре нашего гадючника?!… «Собрание» твоего «Андрюши» — это ещё одно Главное управление. Или его отдел. Тем более, что никакой элиты народа не существует в природе. Есть элитарные личности из народа. И ими всегда жила и будет жить Россия. А элиты нет и не было. Это особенно чётко прояснилось в 1918 году, когда ни один дворянин, — ни один /!/, — пальцем не пошевелил, чтобы спасти от гибели императорскую семью. Стоила она того или нет. Как в

270 миллионной стране не окажется никого, чтобы прийти ей на помощь, когда начнётся развал. Никого, верного присяге. Что до «бума» в печати — он во всплеске ностальгии по войнам, — Русско—Японской, Балканским, но, главным образом, по Гражданской, — по героике Белого Движения. Оно, это Движение, несомненно, возбуждающий россиянина–патриота фактор–рефрен, под который свидетельства о подвиге на её войнах твоей необыкновенной матери — великой россиянки, вне зависимости от её национальной принадлежности, — приобрели необычайно сильный духовный стимул подъёма национального самосознания людей, угнетённых грохотом обвала своей государственности. Только что в «Самиздате» прошли солженицынские «Размышления над Февральской революцией». Они напомнили россиянам о ничтожестве его этой самой дворянской элиты. «… Она потеряла чувство долга, не тяготилась своими, незаслуженными наследственным привилегиями, отбросила государственное сознание…» Да что «элита», если даже Православная Церковь и попытки не сделала спасти Россию, народ! Она слова пастырского не промолвила. Она даже чресел своих не приподняла с сундуков — оглядеться, что с паствою её происходит… За то и потерпела лиха.

И вот, на этом безысходном историческом фоне воинствующей бездеятельности — явление: подвижничество Великой Матери твоей. Скромной россиянки. Простого военного хирурга. Маленькой женщины, избравшей добровольно подвиг спасительства страждущих. И она из немногих, Бен, из очень немногих кто ни на что иное не отвлекаясь — вынесли своё святое дело спасения русского народа. Не более. И не менее. Почему бы не понять русских патриотов? У них были в последние годы иные примеры служения родине?… Ну, а ты, Бен… Извини, но в поднявшемся вокруг её имени и истории вихре преклонения перед нею, ты — только спичка, запалившая Факел Памяти о героическом прошлом россиян. И Пламя его осветило, — и теперь уже, вслед за японцами и прочими — освятило Имя Мамы твоей в России. Никогда не забывай, что за Её Делами все твои когдатошние потуги «пятью хлебами» лагерной пайки; накормить и спасти с полсотни доходяг–азиатов — ничто. Потому помалкивай. И вообще, меньше — а лучше вовсе — не высовывайся. Не то приберут тебя фляйшеры твои с файнблатами, как Алексахина! Они — не КГБ — охоту за вами ведут!

Она знала, что меня охраняют. Знала, что тотчас после звонка брата Ивана Павловича, — с того часа японцы круглосуточно «дежурят» у нас в доме. А вокруг него — патрулями — коротают

время у маленьких костров мальчики — россияне… Но Елена Владимировна — профессионал. Если не по части мокрых дел / она всего лишь заведующая отделением скорой помощи офтальмологической клиники 4–го Управления на Грановского/, то уж по самим мокрушникам всех мастей и рангов точно!

Да, те, что за мною явились — они не с Лубянки, — Лена права была: то — «Бакинцы». От них я защищен. И не одной лишь «мировой общественностью». Той самой, что в прежние, не в такие уж давние, времена надёжно защищала «освободительные» вылазки по миру наших костоломов, но россиянами — молодой Россией. Тем не менее, от греха, после похорон Ивана Павловича я встречался только с активистами «Спасения», которым спокойно, не торопясь, передал управленческие рычаги общества. Было ещё одно свидание с Северо—Кавказцами: их нагло, силовыми методами, толкали в Большую Войну… И «Спасению» вновь вылизывать кровь?!

Почти все последние дни уходящего года я провёл с японскими журналистами. Мы обсуждали план и содержание альманаха о японских пленных в ГУЛАГе. 1991–й год мы встретили тоже с японцами — на подмосковной даче посла. А старый–новый год проводили на нашей даче, в Ильинке. Там, в тиши подмосковных лесов, у пылавшего прощально нашего камина, мы выпили за…, сдаётся мне, агонизирующую тысячелетнюю империю. Ни торжественности, ни тем более торжества мы не испытывали. России мы — наша семья с её предками, — моими и, тем более, предками Нины, — отдали всё. Она нам — тюрьмы, с лагерями и ссылками… Потому не получилось даже поплакать всласть на похоронах большевистской лавочки, хотя — по Губерману -

Когда идёт пора крушения структур,
В любое время всюду при развязках
У смертного одра империй и культур
Стоят евреи; в траурных повязках.

Напротив — было много каминного огня, много ярких свечей, много хорошего вина. А с повязками и с почётным караулом не получилось ещё и потому, что у нашего камина евреев — раз и обчёлся. Толклись, видимо, в панихидах: конец империи только что самые ленивые не высчитали…

Последнее интервью японским СМИ я дал 24–го января 1991 года, возвратившись из трёхнедельной поездки по дорогим нам уголкам России…

Как ни печально, эту прекрасную страну надо оставлять. Оставлять единственное, на планете доступное, до конца не сведенное ещё средоточие девственной природы, основы

счастливого бытия. Но на что менять её? «Угроза» депортации в Израиль вдохновляет, тем более — дороги в мир оттуда не заказаны. США? Всё, казалось бы, за такое решение: состоятельные родичи; связи аж на самом небе; природа, родственная российской; и всё знакомо по длительным путешествиям 1958–1988 годов. Но там мы уже были. Даже жили. И туда нас больше не тянет.

Ностальгических побуждений для смены пусть ссылочной Сибирской тайги на вольный Шварцвальд у нас с Ниной и дочерью нет. Зато у супруги чёткое предвидение момента, когда однажды у её внуков /пусть правнуков/ спросится: кто был вашим дедом? Ей не понаслышке известны ниши немецкой души. Как, впрочем, и закидоны еврейского характера. Да и стоит ли обосновываться в самой цивилизованной стране Европы, если вот уже полтыщи лет из неё бегут аборигены?

Итак, власти решили наказать меня Израилем. Всё сошлось: Иерусалим снится мне вот уже шесть–семь лет. По узким безлюдным улочкам города карабкаюсь в поисках Площади на вершине. Я там уже был прежде. Но не могу снова найти её. И карабкаюсь, карабкаюсь… Из ночи в ночь. И это после полувека одного и того же — тоже из ночи в ночь — кошмара: бегу из подземной тюрьмы, и за мною погоня… Всегда, ночью. Только ночью…

И вдруг финал: «Горящий Куст», осветивший нам Путь в Свет… Мы следуем Знамению. И «выбираем» нашу маленькую страну в ответ на Его позывные. Отныне — я увидел это в ещё одном сне — мы будем жить у Святой Горы. И, по–своему, как умеем, благодарить Его за всё, что Он для нас Сделал. Только так!

… 26 января 1991 года из Токио, факсом, пришел номер «Санкей шимвун» от 25–го января с моим интервью и сообщением «Всей Японии!»: 28 января «Додин–сан с супругой, дочерью и её семьёй депортируется в Израиль!».

Конец истории «Бакинского этапа»?

Как бы не так!…

notes

Примечания

1

По приговору Куйбышевского Обл. суда от 1 дек. 1941 г.

2

Александр Евгеньевич Голованов